ГЕРОИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

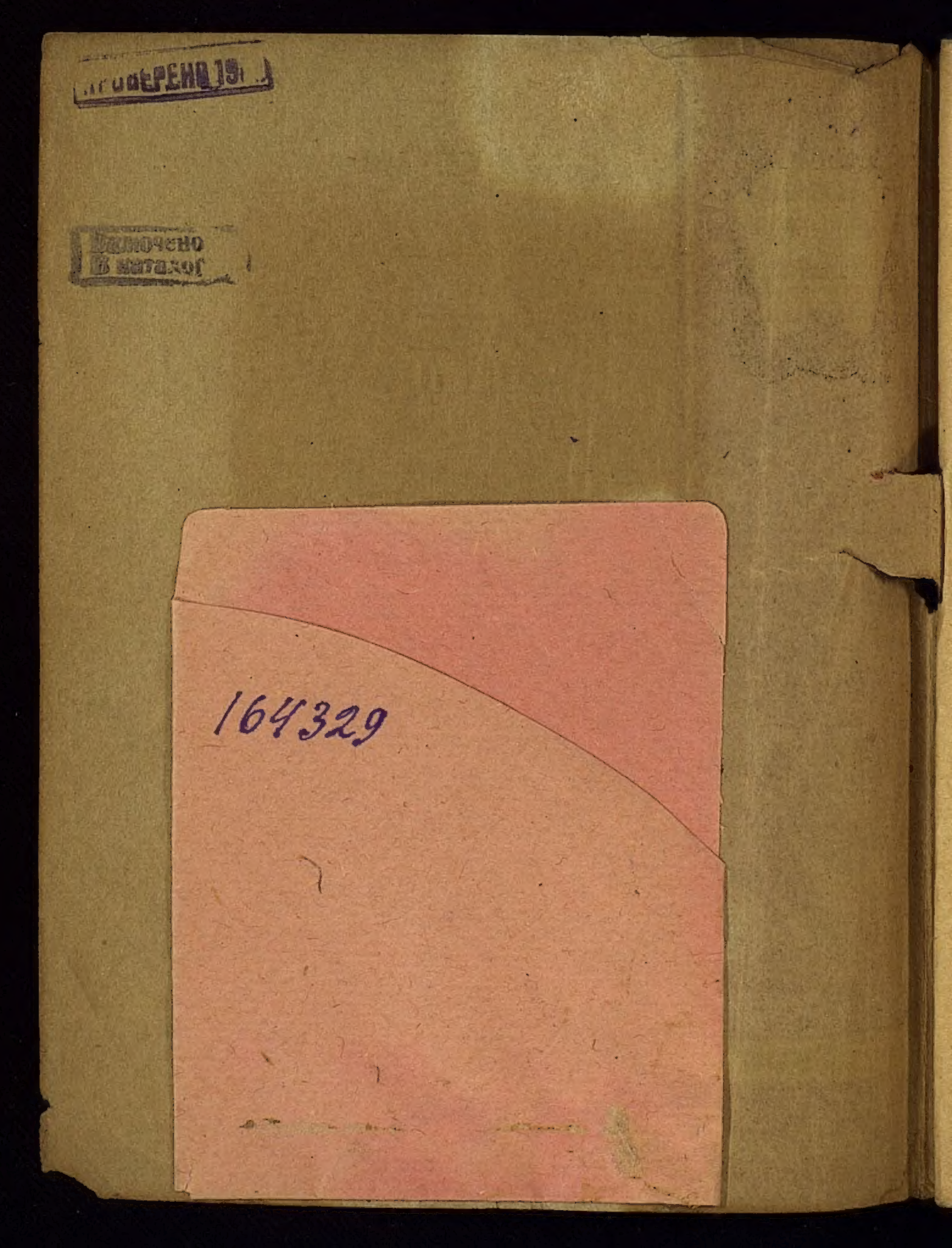
Ю. НАГИБИН

ГВАРДЕЙЦЫ НА ДНЕПРЕ



1944

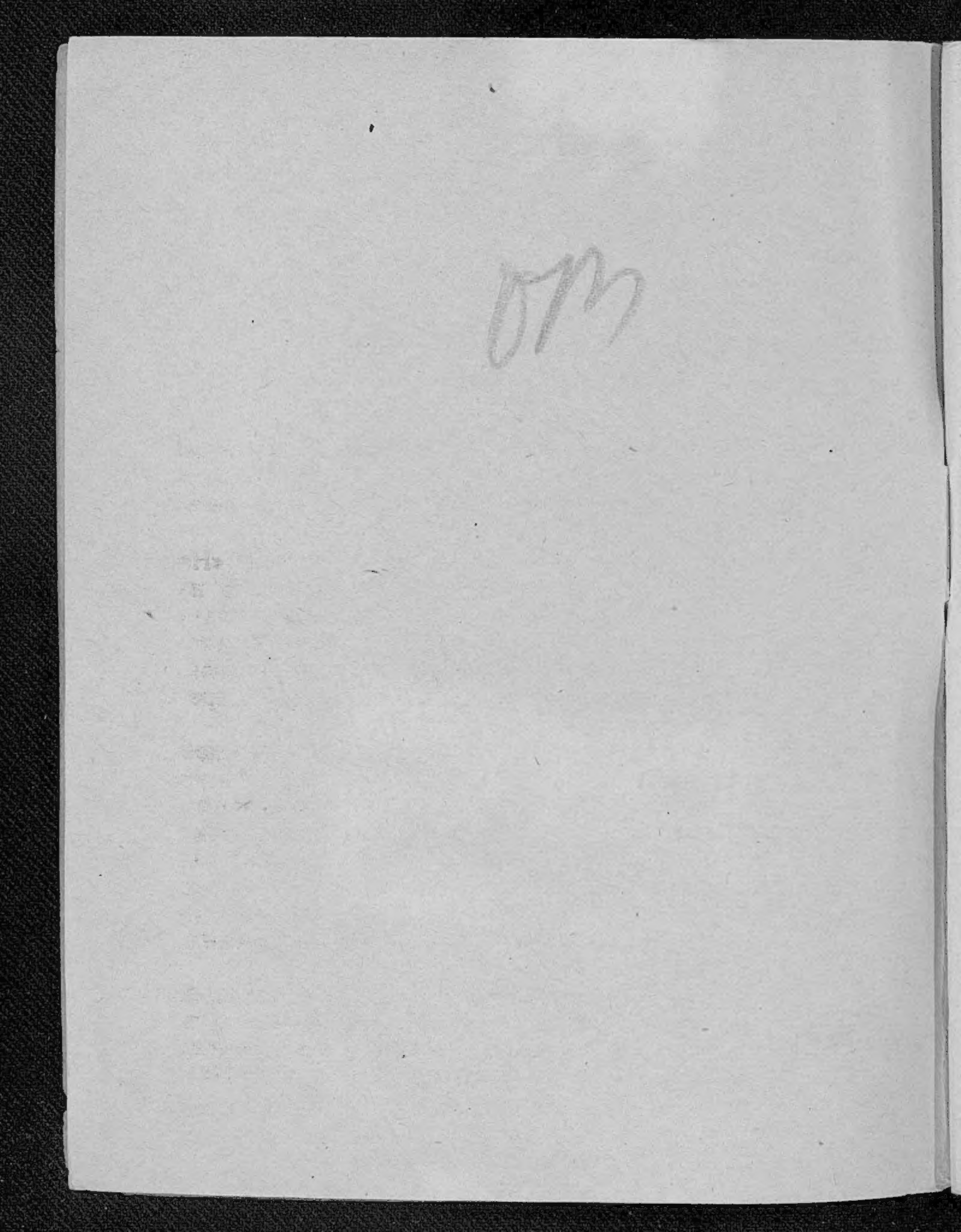
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ


ПРОВЕРЕНО 19
Включено
В каталог
164329

Ю. НАГИБИН

ГВАРДЕЙЦЫ НА ДНЕПРЕ

Издательство ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия»
1944



★

1

В этот день хоронили Васюту. В целом корпусе не было человека, которого бы все так любили, как сержанта Васюту, самого смелого разведчика, самого веселого и сердечного парня.

Нередко, тревожась за него, гвардейцы говорили: «Не смерть тебя, — ты сам ее ищешь, Васюта». Но никто не верил всерьез, что Васюта может погибнуть. Уж очень не вязались между собой смерть и этот отчаянно и удачливо смелый парень с такой веселой и доброй душой, что рядом с ним любая горесть и грусть казались преходящими.

И вот он лежит под тополем, близ черной глубокой ямы, в гробу из толстых дубовых досок. Шевелятся на ветерке листья тополя, показывая то глянцовито-зеленую, то матово-серебряную поверхность, и подрагивают их тени на изуродованном, обожженном лице Васюты. Не хочется смотреть, и нет силы отвести взгляда от этого до неузнаваемости страшно изменившегося лица: огромные пустые глазницы с втянутыми вовнутрь веками, оскал зубов под сожженными губами...

«Почему не закрыли ему лицо?» подумал старший лейтенант Головатый, высокий горбоносый юноша с чуть припухлыми, в красных дужках, глазами, и сам ответил себе: «Правильно, что не закрыли. Не бабы стоят здесь,

у отверстой могилы. Воины. Надо видеть это лицо—оно не забудется. Чувствуешь, как рядом с болью в тебе закипает другое чувство—тяжелое, тревожное и такое большое, что, кажется, его не вместит сердце. Чувство это—источник силы. Ты стал сильнее сегодня, ты способен на бо̀льшее, ты сможешь итти еще дальше по пути страданий и трудных радостей войны... Ненависть растет на войне с каждым новым боем, с каждой твоей раной, с каждым павшим товарищем, с каждым клочком родной измученной земли, отвоеванной у врага. Не утоляясь, растет это грозное и тревожное чувство; душа твоя закаляется в нем, как сталь в огне, и становится беспощадной...»

Так думал двадцатилетний гвардейский офицер, не отводя напряженного взгляда от мертвого лица товарища. Короткая вспышка ветра сорвала тополевый лист, и он, тихо кружась, мягко опустился на щеку Васюты. Чья-то большая рука протянулась к листу; толстые пальцы, исхитрившись, осторожно ухватили короткий черенок и сняли лист, не коснувшись лица. Головатый поднял глаза и увидел, что это — Соловьев, хороший артиллерист, но грубоватый, нравный в общежитии человек.

Офицеры и бойцы, поочередно сменяя друг друга, выходили к тополю и говорили прощальное слово умершему. Головатый не слушал их. Васюта, живой, веселый, со своей обычной усмешечкой доброжелательности к людям, до боли отчетливо стоял перед ним...

У Головатого было особое, свое отношение к Васюте. Очень молодой офицер, он, придя в прославленный гвардейский корпус, невольно стал искать образцы для подражания. И если в лице своего нового друга, капитана Данилова, он нашел образец хладнокровного и решительного офицера, то в сержанте Васюте ярче всего раскрылось Головатому обаяние личного бесстрашия, отличавшего людей корпуса.

Головатый помнил день, когда он впервые встретился с Васютой, о дерзких подвигах которого был наслышан с самого прихода в корпус.

Это было в одной деревеньке, только что отбитой у неприятеля. Головатый зашел в политотдел, разместившийся в разрушенном здании сельсовета, и увидел невысокого, широкоплечего, с крепким затылком сержанта, стоявшего навытяжку перед начальником политотдела. Широкое обветренное лицо сержанта сразу понравилось Головатому своим выражением энергической доброты. Рядом с ним стоял молоденький паренек в штатском, удивительно похожий на сержанта лицом и небольшой прочной фигурой, в которой чувствовалась упрямая силенка. «Брат», решил Головатый. И верно, в освобожденной деревне оказался меньшой Васютин брат. И сейчас Васюта просил начполитотдела походатайствовать перед командованием о зачислении брата в его, Васютину, часть.

— Я, товарищ полковник, на водителя его обучу. Будет у нас экипаж братьев Васюта. Это ж моя заветная думка, товарищ полковник, — с братишкой на пару фрицев крошить...

Полковник хмурился и, не отвечая, постукивал карандашом по столу.

— Возьмите меня, товарищ полковник, — тихо сказал меньшой. Но старший на него цыкнул:

— Помалкивай! В армии групповые заявления не положены... Проверьте его, товарищ полковник. Он себя докажет!—улыбаясь ослепительной, белозубой улыбкой, говорил Васюта.

Головатый подумал: «В том, как человек просит, открывается его характер». В горячей просительности Васютиного тона не было ни нотки униженности или желания разжалобить. Сохраняя почтительность, как и следует в отношении большого начальства, он ничуть не утрачивал чувства собственного достоинства

— Твой брат, — сказал начальник политотдела, — при немце здесь находился...

Черные глаза Васюты сверкнули.

— Насчет этого можете не сомневаться, товарищ полковник! — звонко сказал он. — У нас с ним одна кровь!

— И взаправду одна!—радостно воскликнул меньшой. И это прозвучало так искренне и наивно, что полковник, с трудом удерживая улыбку, сказал:

— Ну, будь по-твоему, Васюта!

...В день, когда братья Васюта выехали на легком броневичке в свой первый совместный рейс, — старший командиром, меньшой водителем, — ребята говорили: «Ну, Васюта уж что-нибудь отмочит! Хочется ему, чтобы брат себя доказал...» И братья оправдали общее ожидание. Прорвавшись в тыл к немцам, они подбили из противотанкового ружья бронемашину, перестреляли человек десять из пулемета, захватили в плен двух немецких офицеров. Усадив их на крышу броневика, братья на всем газу через рвы и ухабы примчали их в штаб, ошалевших от русской дерзости, а равно и от бешеной скачки. Старшина Васюта, счастливый успехом брата, стоял в люке и, размахивая трофейным парабеллумом, заставлял немцев крепко держаться за прыгающую башню.

Вечером того же дня меньшому Васюте был вручен гвардейский значок. На радостях старшой весь вечер распевал украинские песни чуть хрипловатым, но поразительно вольным, бесконечным на верхах голосом и рассказывал веселые истории из своей довоенной жизни в Донбассе, которые все знали наизусть и все-таки могли слушать снова и снова...

Затем меньшого ранило. Он плакал, когда его отправляли в госпиталь, не хотел расставаться с братом. Но рана была тяжелая, и никакие просьбы не помогли.

Васюта пригорюнился, кажется, впервые с тех пор, как пришел в часть. Может, из-за этого все и произошло.

Головатый находился в землянке командира бригады, когда тот вызвал Васюту.

— Надо разведать боевые порядки противника. Могли бы вы на своем броневике проскочить немецкие окопы, выяснить, как организована у них оборона, и уйти? Понимаете — уйти?..

Черные глаза Васюты зажглись знакомым, опасным огоньком.

— Та если надо, конечно, можно!

— Ну, добре, — коротко сказал полковник и крепко, обеими руками, потряс руку Васюты.

Васюта сверкнул улыбкой и так лихо повернулся на каблуке, что едва не описал полный круг.

Взобравшись на высокий дуб, Головатый с несколькими товарищами наблюдал, как прорывался Васюта сквозь немецкую оборону. Его камуфлированный броневичок, казавшийся совсем крошечным издалека, на пределе скорости промчался лощиной, близко подходившей к немецким позициям. Синее облачко окутало его, когда он, газуя, брал крутой подъем. И вот он вырвался из лощины, пролетел между двумя блиндажами, и его пестрое тело замелькало в побитом тощем березняке. А когда он вылетел на пролысинку в березняке, Головатый увидел до полусотни немцев, бегущих ему навстречу и на ходу стреляющих из автоматов. Тут Васюта совершил ошибку: ему не было приказано принимать бой. Броневичок — легкий, с тонкой броней, которую ничего не стоит «взять» из противотанкового ружья. Ему следовало уйти от немцев в их тыл. Ну, дать одну очередь для самоуспокоения — и уйти. Да ведь живая душа Васюта! А может, он вспомнил о братниной ране... Только, вместо того чтобы дать ходу, он развернулся и стал сечь немцев длинной струей. Всех уложил! Но тут из-за деревьев

еще возникают немцы и мечут в броневик бутылки с зажигательной смесью. Немцев было не меньше сотни, но Васюта, раз приняв бой, уже не мог отступить перед врагом. Он высунулся из люка под проливным огнем, швырнул в немцев гранату, захлопнул крышку люка и стал полосовать их из пулемета. Тут все наши повылазили из траншей, кое-кто попробовал бить по немцам, но дальность делала тщетной эту попытку. И наши ругались от бессилия и злобы.

А броневик Васюты метался среди немцев. Он напоминал большого пятнистого зверя, отбивающегося от стаи мелких, сильных лишь своим числом врагов...

Немцам удалось зажечь броневик. Фиолетовое пламя растеклось с башни по бокам. Васюта газанул и сбил пламя. Затем развернулся и стегнул очередью подползавших немцев. И снова вспыхнул броневик, и снова Васюта погасил пламя. Тела немцев устилали землю, и Васюта давил их колесами. А затем Васюта уже не стрелял — верно, кончились патроны. Он помчался прямо на двух немцев, готовящихся бросить бутылки, опрокинул их, вырвался из рощи, проскочил мимо блиндажей, и наши захохотали, увидев, как поспешно юркнули в свои норы вылезшие было наружу немцы.

Теперь Головатому казалось, что Васюта уйдет. И, верно, другим казалось то же. Раздались крики «давай», словно Васюта мог их слышать. Броневик уже мчался по ничьей земле, как вдруг из моторной части рванулось ослепительное пламя. Пламя обволоклось дымом и забилось внутри него, черного, клубастого, злым оранжевым языком. Броневик еще несся по скату, но всем было ясно, что случилось: взорвался бензобак. Верно, не все пламя сбил Васюта, где-то уцелел маленький упрямый огонек, и он добрался до сердца машины. Из смотровых щелей высовывались тоненькие язычки огня, затем откинулась крышка люка, и пламя с копотью вырвалось

из броневика. Немцы бежали по ничьей земле к броневику. И тут Головатый, соскочив с дерева, крикнул:

— За мной!—И гвардейцы бросились навстречу врагу.

Броневик проскочил маленькое плоское озерко, разбрызгав воду, уткнулся носом в пень и встал. Из люка возник огромный живой факел. Факел соскользнул на землю: это был человек, на котором горело все—кожа, волосы, одежда. Ветер повел пламя, оттянул его, словно легкую ткань, в сторону своего полета, и сквозь огонь проглянули черты Васюты. Он шагнул навстречу немцам, и те попятились. Он сделал еще шаг и упал лицом вперед в небольшое синее озерко. Огонь погас, осталось почерневшее тело человека. Тогда немцы снова устремились вперед. Во что бы то ни стало хотели они добраться до Васюты, живого или мертвого. Но наши были близко, они с криком неслись на немцев, и немцы повернули. Наши с ходу били по ним, и ни один немец не добежал до своего блиндажа. Бойцы подняли обуглившееся, еще горячее тело Васюты и понесли. Напарник его сгорел в машине. Немцы стреляли по людям, несшим тело, но те, не сгибаясь, в рост прошли весь путь...

Хотя Васюта был только сержантом, о его гибели доложили генералу. Рассказывали, что генерал армии пришел в сильнейший гнев, узнав, что Васюта вступил в бой, не получив приказа принимать его. Передавали слова генерала: «Самовольничают! Жизнь в копейку ставят! Мне не нужна такая храбрость. Не нужна!..»

И хотя высказывали предположение, что гнев генерала вызван огорчением — генерал знал и ценил Васюту и не раз лично давал ему ответственные задания, гвардейцы опечалились. В поступке Васюты не было прямого нарушения приказа, к тому же его геройская, даже в глазах видавших виды гвардейцев, смерть покрывала всё. Их печалило, что на безупречную славу их товари-

ца ляжет упрек — упрек самого генерала, бывшего для всех не только старшим по званию, опыту и годам офицером, но и непререкаемым авторитетом в вопросах воинской чести.

Гвардейцы несколько приободрились, узнав, что похороны Васюты состоятся по высшему воинскому разряду и что сам генерал скажет прощальное слово. И люди с нетерпением ждали этого слова.

...Головатый отрывается от своих мыслей и смотрит на рослого, статного, несмотря на полноту, человека с серебряными висками, стоящего под тополем. Матовая пыль осела на большом генеральском погоне. Загорелое, гладко выбритое лицо генерала было задумчивым, чуть грустным. И лишь временами, когда он поднимал голову, в его очень светлых на смуглом лице глазах вспыхивало обычное властное выражение.

Говорил Соловьев. Речь его была медленной, затрудненной, нужные слова давались ему не сразу. Но это не заботило Соловьева. То, что он говорил, предназначалось одному Васюте, и, шевеля толстыми пальцами, он терпеливо подыскивал слова, способные выразить его чувства.

— Мечтал Васюта Днепр увидеть... Шутил бывало: «Не согласный я раньше помирать»... Не сбылась его мечта... А, думается, недолго ждать оставалось... Скучно нам будет без Васюты. Обездолил нас немец... Но мы не будем покойны, покуда всего немца не изведем... Слово тебе на этом гвардейское, дорогой...

Соловьев смолк и, нагнув голову в крупных золотых кольцах волос, смешался с толпой. К гробу шагнул генерал. Гвардейцы затаили дыхание. Генерал не был мастером красно говорить, но простые слова, произнесенные его негромким, глуховатым голосом, находили особый отклик в душе Головатого. Они были весомы простой и

большой правдой, которую воплощал в себе этот человек.

— Мы потеряли дорогого товарища... Его жизнь должна стать примером для всех нас, — говорил генерал, и Головатый клялся себе, что станет таким же бесстрашным, как Васюта. — Дорого будет стоить врагу эта смерть, — говорил генерал, и Головатый печалился, что не может сейчас же один выйти против роты немцев...

Но когда генерал умолк, Головатый почувствовал разочарование. Как и остальные гвардейцы, он ожидал, что генерал не только отдаст Васюте должное, но и скажет во всеуслышание, что простил его в своем сердце. И генерал, словно поняв молчаливое ожидание людей, тем же негромким и глуховатым голосом, но так, что все услышали, сказал:

— Не уронил Васюта своей смертью геройскую жизнь свою. Он посмертно представлен нами к утверждению в звании Героя Советского Союза...

Словно ветер прошелестел в листьях тополя: с облегчением вздохнули гвардейцы. И тут генерал поднял руку. Согласный ружейный залп разломил тишину, за ним второй, третий... Четверо бойцов спрыгнули в яму, четверо других осторожно опустили им гроб. Генерал бросил первую горсть земли. Комья глухо застучали о крышку гроба, затем тише, тише, и очень скоро под тополем вырос небольшой могильный холм. Двое саперов обровняли его лопатами. Затем установили гладко обструганный деревянный цоколек с дощечкой. Головатый знал, что написано на дощечке. Он сам выжигал буквы раскаленной проволокой: «Сержант Васюта погиб за счастье всех людей...»

Головатый почувствовал, что долго сдерживаемые слезы сейчас хлынут из глаз.

«Стыдно, офицер», твердил себе Головатый, до крови закусывая губы. Но это не помогло. Оттого, что он

слишком долго сдерживал дыхание, ему пришлось открыть рот, и рыдание влажно и слышимо рванулось из груди. Щеки его стали горячими от румянца. Он украдкой поднял глаза и заметил у стоящего впереди капитана Данилова две влажные полоски на щеках, вдоль носа. Но зубы Данилова стиснуты, и ни один мускул не дрожит на лице. Было очень тихо. Молча плакали гвардейцы...

Старший лейтенант Головатый был едва ли не самым молодым в корпусе, ему еще не давалась их сдержанность.

Хоть бы скорей кончилась церемония!

И неожиданно в тишине прозвенел голос генерала. Это не был обычный, глуховатый его голос· металлический, высокий до срыва звон, прозвучал в нем; таким голосом отдавал он приказания в пылу боя:

— Товарищи гвардейцы! Ваша месть не заставит себя ждать. Получен приказ: итти нам к Днепру, быть на том берегу!

Лицо генерала горело красотой прорвавшейся страсти. Счастливый, радостный рокот прокатился по рядам, и Головатому стало вдруг так щемяще легко на душе, словно Васюта улыбнулся ему из темного далека своей ослепительной улыбкой.

2

Так вот оно, то самое большое и грозное, о чем он столько думал, к чему неустанно готовил себя с тех самых пор, как с третьим гвардейским Сталинградским корпусом пошел в бой!

Несмотря на молодость, Головатый не был новичком на войне. Бои за Аксай, бои под Матвеевым Курганом, прорыв фронта между Белгородом и Сумами, бои за десятки деревень, сел, за правый берег многих мелких речушек, что выглядят такими волосяно-тоненькими на

картах и которые так трудно одолеть, — эти яростные бои на пути к Днепру,— все это было лишь вступлением к тому главному, что должно было произойти.

Головатый думал об этом главном, когда ночами слушал рассказы бывалых гвардейцев о боях в Сталинграде. И все пережитое и переживаемое им меркло перед тем невероятным, смертельным напряжением воли, которое гвардейцы определяли просто: Сталинград.

Головатый думал об этом, когда впервые на передовой попал под сильную бомбежку пикирующих «Юнкерсов». Он лежал, прижавшись щекой к теплой шершавой земле. «Юнкерсы» с воем разрывали воздух, роняя в пике свои черные тела. Зеленые столбы вырастали на месте падения бомб и разлетались фонтанами. Если бомбы падали близко, горячие комья земли барабанили по спине; если далеко, то ветром приносило желто-серую пыль, от которой мутилось сердце. И он вдавливался в землю, а затем поднимал голову и видел, как осколки сшибают головки репейника... А потом он подумал, что должен встать и пойти к своей батарее, расположенной на противоположном конце поля. В этом не было особой необходимости, но это нужно было ему самому. Он хотел подняться. Это оказалось невероятно трудным. Ощущение было такое, как в детстве, когда, наложив полную пазуху камней, он нырял на дно реки разорять налимьи гнезда. Но он все же пересилил груз своего тела, оторвался от земли, побежал. Два раза его швырнуло наземь воздушной волной с черным земляным гребнем, а затем он заставил себя идти медленнее, идти сознательно, с расчетом,— и он дошел. Бойцы сидели в траншеях, тянули самокрутки, пуская дым в рукава, и дружно приваливались один к другому, когда очередной свист распарывал воздух...

Головатый думал об этом главном, когда его ранило в бою под Аксаем. Ему перебило ступню, но он наотрез

отказался ехать в госпиталь и все дни, что длилось его выздоровление — свыше месяца,— пролежал в медсанбате, в небольшой деревушке, находившейся в полутора километрах от фронта. Казалось, все немецкие снаряды, делавшие перелет, разрывались именно в этой деревеньке. Не раз навещали ее и немецкие самолеты. И хотя военврач медсанбата уверял Головатого, что подобная «нервная» обстановка не способствует заживанию раны, Головатый заставил себя встать на ноги очень скоро — почти на месяц раньше срока, указанного врачом. Он боялся потерять свою часть, ибо с ней хотел он встретить то большое, главное испытание, какого ждал все дни своей боевой жизни. Головатый считал счастьем для себя, что он воюет бок о бок с людьми, у которых общность великого труда сталинградской борьбы отложилась прекрасной традицией боевого товарищества, пронизывающей всю жизнь.

Эта мысль владела им во всех больших и малых боях, которые он вел, начиная с прорыва между Сумами и Белгородом и кончая последними боями у Гадяча, на дальнем подступе к Днепру. И мысль эта направляла всю боевую работу Головатого. В расчете на предстоящее великое усилие готовил он и своих людей. В его батарее тяжелых минометов все расчеты умели держать в воздухе по три мины, а отдельные минометчики достигали такого изумительного мастерства, что не успевала одна мина разорваться в расположении врага, как три других мчались ей вдогонку. Головатый входил во все мелочи боевого быта своей батареи. Он сумел снискать уважение людей, которые превосходили его возрастом и сроком службы.

Головатый был военный по призванию. Он мечтал о военной карьере, сидя на школьной скамье. Не случайным был для него и выбор рода оружия. Когда-то давно, в раннем отрочестве, его поразило ощущение величия и мощи артиллерийского огня на полигоне, куда его возил

товарищ отца, старый артиллерист. В дальнейшем это чувство окрепло, стало сознательным стремлением.

Он принадлежал к тем людям, которые в ту пору, когда мы, не думая о войне, учились, строили, занимались искусством, — словом, жили всем многообразием мирной жизни, — уже готовили себя к боям, отдавали себе ясный отчет, что счастье, создаваемое на нашей русской земле, придется защищать с оружием в руках. Мечтой Головатого было поступить в академию, стать знающим артиллеристом, служителем «бога войны». Но война разразилась раньше, чем дано было осуществиться этой мечте. Впрочем, он прошел хорошую школу и во время войны. Головатый порой изумлялся: война в полном разгаре, немцы все глубже и глубже впиваются в нашу землю, а его все учат и учат. Из минометного училища — на курсы усовершенствования... А флажки на географической карте приближались вплотную к широкой голубой полоске—Волге—и обтекали черный кружочек—Сталинград. За условными значками карты он видел степь, залитую кровью, железный предел, дальше которого не должно двинуться врагу; он видел своих сверстников, дерущихся насмерть за каждый клочок приволжской земли... Головатый чуть не каждый день подает заявления с просьбой отправить его на фронт. В результате его вызывают в кабинет начальника училища. За письменным столом—знакомая грузная фигура, большое лицо с выдающимся вперед подбородком, на круглом плече — полковничий погон. На столе перед полковником стопка заявлений Головатого, за спиной — огромная, во всю стену, карта, и на ней флажков еще больше, чем на классной карте, и еще явственней видно, как густеют они вокруг черного кружочка у широкой голубой полоски.

— Вы хотите на фронт? — спрашивает полковник, и в его тоне не слышно особого интереса. Скорее в нем сквозит легкая досада и чуть заметное превосходство, как

бывает в разговоре старых с молодыми, если эти молодые дают слишком ясно почувствовать свою молодость.

— Вы, стало быть, считаете, что досконально овладели своей специальностью, что стали настоящим мастером войны? Не так ли?

— Я так не считаю, товарищ полковник. Но я могу умереть за родину! — пылко ответил Головатый.

— Это ваш долг,— спокойно сказал полковник.— Но вы — офицер, и прежде всего вы должны уметь сражаться за родину. Вы думаете, только мужество и отвага отстаивают Сталинград? Заблуждаетесь: мастерство, воинское искусство. Там дерутся мастера войны! Большие мастера! Научитесь такому же мастерству. А на ваш век войны хватит... Вот она — наша война.— Полковник, полуобернувшись, махнул рукой вдоль карты, с востока на запад. Взмах руки охватил огромное поле: зелень степей, коричневу донецкого кряжа и дальше — зелень всех оттенков. Зелень равнин и коричневу гор пересекали на карте голубые извивающиеся полоски рек, и одна из этих полосок была особенно широка. Рука полковника коснулась карты как раз у этой полосы. «Днепр», прочел Головатый крупные буквы. По ту сторону реки осталось детство, остался дом, остались мать и отец. Смущение, испытанное им вначале, исчезло, сердце тронулось предощущением великого хода событий, который мелькнул ему в свободном уверенном жесте полковника. Сейчас, когда враг видел Волгу, когда кольцо огня и железа вокруг Сталинграда становилось все уже, этот человек говорил ему о войне, повернутой вспять, о той войне, когда мы будем видеть пыль, клубящуюся позади отступающих вражеских частей.

Так будет. Его, Головатого, война — это война, повернутая вспять.

В марте Головатый вступил в эту войну. Она шла полями и низинами, холмами и взгорьями, большими и

малыми реками. Курсант становился кадровым офицером, офицер воевал и учился. Война была его академией, он становился мастером войны. И очень часто короткими ночами наступления он вспоминал широкую голубую полоску на карте. Полоска расширялась, заливала все окрест, и уж не полоска то была, — голубовато-зеленая днепровская вода колыхалась перед глазами старшего лейтенанта, устремленными в ночь. Знал, как и все знали: полной силой встанет немец на днепровском рубеже, ведь до самых границ не найти ему другой такой защиты...

— Рубикон, — шептал Головатый и улыбался. Он улыбался тому, что ждало его впереди, — грозному, но не страшному его горячей юности.

До самой гибели Васюты не знали гвардейцы, суждено ли им увидеть Днепр до наступления будущего лета. И вот теперь, наконец, слово сказано.

— Рубикон! — вслух произнес Головатый, всей грудью вдохнул воздух и остановился посреди поля.

Огромный чистый простор был вокруг. В нежной его голубизне незримо сталкивались птичьи голоса, смешивались крепкого настоя степные запахи — немые голоса цветов.

Цветы и травы, звенящие под ногой, увядали, и тем щедрее отдавали они простору последнее свое благоухание. И птицы зачинали последние свои песни перед отлетом в теплые края. Пологие солнечные лучи запутались в ветвях березовой рощи, и кажется, что пожар пылал среди березок.

Ночью враг, не приняв боя, ушел за горизонт. Травы, примятые колесами его машин и сапогами солдат, успели распрямиться, и ничто не напоминало о [illegible]. Кажется, что весь мир так же тих и [illegible] сейчас, как вот этот уголок. На миг ты вбираешь в себя этот мир со всей его тишиной, благоуханием, серебром птичьих

песен. Довольно, мир грохочет войной. Война совсем рядом, — черная, жадная, свирепая притаилась она за горизонтом. А вот и отдаленный голос ее — ухнуло за краем простора...

Сминая цветы и травы, Головатый бегом устремился к своей батарее.

3

...Первым делом нужно было разложить боеприпасы по машинам. Головатый отобрал несколько человек, остальным разрешил заняться своим делом: почиститься, написать письма домой, исправить неполадки в снаряжении, если таковые имеются.

С раскладкой управились быстро. Аккуратные ящички с минами плотно пригоняли один к другому, чтобы как можно больше боезапаса уместилось в машине.

Покончив с этим, Головатый вернулся к своим батарейцам, обосновавшимся в березовой рощице. Никто не сидел в землянках. Расположились на мягком ковре из опавших листьев, между которыми проглядывали еще живые травы и красные ягоды брусники. Один боец точил на ремне кинжал, пробуя ногтем поголубевшую острую сталь; другой пришивал пуговицу к гимнастерке; иные писали письма, положив клочки бумаги кто на фуражки, кто на мешочки, плотно набитые экономным солдатским добром. А сержант Салатаев, исправный солдат и одинокий на свете человек, которому нечего было чинить и некому было писать, просто развалился на теплой мягкой, как войлок, лиственной подстилке и, подложив под голову руки, что-то напевал дребезжащим, но точным на музыку тенорком...

Рослый широкоплечий боец с детским курносым лицом, странно и трогательно не соответствующим его могучей фигуре, смущенно сутулясь, подошел к Головатому.

— Можно до вас, товарищ старший лейтенант?

— Что у вас, товарищ Суховатов?

— Письмо, — сказал Суховатов, и лицо его затекло красным, а голубые глаза глянули куда-то в сторону, мимо лица Головатого. — Письмо мне написать надо. А слова-то никак не складываются. Хотел вас попросить, товарищ старший лейтенант...

— Кому письмо?

— Да кому ж! Нюрке, конечно,—еще более смутился Суховатов. — Нюрка, дивчина у нас в колхозе есть. Если так говорить, то я слово ее с собой увез... Все жалуется, что я ей красивых писем не пишу, перед дивчатами ей даже стыдно... Охота мне ей радость оказать. Может, и пишу-то в последний. А вот никакие слова красивые в голову не идут! — Суховатов огорченно развел руками.

— А что ты писал?

Суховатов достал из-за пазухи смятый и теплый от его тела листок бумаги. Головатый прочел:

«Уважаемая Анна Федоровна! Пишу вам это письмо перед великим боем. И чувств у меня так много, что ни сказать, ни написать я про них не умею. Только скажу, что люблю вас сильней всего на свете, и не серчайте, если больше писем от меня не получите. Не понимай так, что я тебя забыл, а понимай так, что меня на белом свете уж нет.

Ваш дорогой Иван».

— Вот это и пошли, — сказал Головатый. — Лучше не написать.

— От сердца писал, — сказал Суховатов, складывая письмо в солдатский треугольничек. — А всёжки напишите еще одно, покрасивше, товарищ старший лейтенант... Я их оба пошлю — одно ей только, а другое — перед подругами гордиться...

Васильковые глаза Суховатого глядели умоляюще.

Головатый взял у него из рук огрызочек карандаша и мятый листок бумаги.

«Этому нас не учили в артшколе, — усмехаясь про себя, думал Головатый. — Оказывается, и это нужно уметь».

Головатый постарался представить себе Нюрку: колхозная красавица, рослая, подстать Ивану, и с глазами васильковыми, ему подстать... Покраснел, и карандаш его быстро забегал по бумаге. Он испытывал чувство неловкости, когда протягивал Ивану часто исписанный листок. Но едва Иван прочел первые строчки о голубых глазах, сопровождающих его в битве, как он радостно ухмыльнулся во всю ширь лица.

— Ох, спасибочки вам, товарищ старший лейтенант! Как раз, что нужно. У ней, правда, глаз карий, да так даже красивше...

Он побежал отдать свои письма почтарю, а к Головатому шагнул пожилой сержант Галанов. Он давно уже стоял в сторонке, ожидая, когда командир закончит письмо. Это был большой, немолодых лет человек с сухим костистым лицом, на котором живо и привлекательно сияли чистые, словно промытые, серые глаза.

— Товарищ старший лейтенант, просьба у меня до вас: заместо Сергиенко поставить в мой расчет Пуговкина.

— Что так? Ведь ты с Сергиенкой сработался. Или поссорились дружки?

— Нет такой бабы, чтобы нас рассорила. — Серый глаз Галанова озорно вскинулся на Головатого. — Но вот беда в чем: Андрейка беспартийный, заряжающий тож, и я, — грешно сказать, — старый мужик, а не в рядах. А что, ежели в этом бою кто из нас геройство окажет? Был бы Андрейка партийный, он бы мне и сказал: видел тебя в близком деле, достоин ты быть в рядах. А ежели б я тех слов слышать сам уж не смог, так он

на собрании партийном сказал бы: достоин, мол, Галанов был. Вот почему и просим мы: пусть Салатаев Сергиенку себе возьмет, а мне Пуговкина отпустит. Сработаться с ним — пустяк. Он парень сталинградский.

— Понял, Галанов. Уважим твою просьбу.

Галанов, козырнув, отступил, и Головатый увидел бредущую по тропинке хорошо знакомую и симпатичную ему сутулую фигуру военфельдшера. Фельдшер был в коротком халате, накинутом поверх выцветшей гимнастерки. На ремне у него болтались две коробки от противогазов — одна с сульфидином, другая с красным стрептоцидом. Военфельдшер обходился исключительно этими двумя лекарствами и творил сущие чудеса. В редких случаях он прибегал еще к одному средству, излюбленному бойцами: сто граммов «спиритус вини», точно отмеряемых в мензурке. Это лекарство он хранил главным образом для себя, уверяя товарищей, что только им может заглушить многие хворости, обитающие в его теле. При всем том он был отличным фельдшером и храбрым человеком.

— Ну, показывай мне своих молодцов, — сказал военфельдшер, пожимая руку Головатому.

— А что: чистить будешь? Смотри, не оставь меня без людей.

— Сие от нас не зависит. С кого прикажешь начинать?

— Да хоть с него. Галанов, показывайся врачу.

Галанов охотно последовал приказанию. Он стянул через голову гимнастерку, обнажив смугловатый ребристый торс. По груди, по широкой спине Галанов весь был мечен белыми шрамами и красноватыми узелками поджививших ран.

— Тронутый ты человек, Галанов, — с уважением заметил Головатый.

— Есть малость, — с гордостью ответил тот, пово-

рачиваясь по приказанию военфельдшера то передом, то тылом. — Эти-то уж все поджили, впору новые получать.

— Ноги в порядке? — спросил военфельдшер.

— Держат столбы, — усмехнулся Галанов, с хрустом присев на корточки и гибко распрямившись.

— Пойдешь на Днепр, — заключил военфельдшер и белой слабой рукой хлопнул по медному плечу Галанова.

Один за другим проходили батарейцы перед врачом. Вели они себя по-разному. Те, что чувствовали полное свое здоровье, подходили смело, охотно сдергивали гимнастерки. Те, что чувствовали за собой изъянец — незажившую или открывшуюся рану, — держались позади, но с нарочито развязным видом, плохо маскировавшим их беспокойство. Головатого вызвали к комдивизиона, и когда он вернулся, осмотр подходил к концу. Военфельдшер осматривал Медведского, у которого, как знал Головатый, недавно открылась рана на бедре. Фельдшер заставлял Медведского приседать и сам надавливал пальцем около раны. Головатый видел, что Медведскому больно; лицо его, когда фельдшер на него не смотрел, кривилось от боли. Когда же фельдшер подымал глаза и спрашивал: «Не тревожит?», Медведский мучительным усилием выдавливал улыбку и отвечал: «Никак нет, давно подсохло!..» Головатый подумал, что Медведскому, пожалуй, не следовало бы итти в бой, но тут он вспомнил, что Медведский был, как и он, Головатый, правобережец, и, по-солдатски поняв Медведского, промолчал.

— Прямо не знаю, как быть с тобой, — сказал наконец военфельдшер, не отнимая пальцев от красного пятна вокруг раны, затянутой потрескавшейся, непрочной кожей.

— А что, как? — сказал Медведский, улыбаясь из последних сил. — Годен к строевой. А если что не так — сто грамм внутреннего, и дело с концом!..

— Ну, внутреннего ты не получишь, — рассердился военфельдшер. — Ступай в медсанбат.

— Не пойду, — сказал Медведский. — Товарищ старший лейтенант... — жалобно обратился он к Головатому.

Тот развел руками.

— Ничего не поделаешь, брат, — медицина.

— Медицина, — ворчал Медведский, злыми движениями натягивая на себя одежду. — Клистирная трубка!

— Не забывайтесь, Медведский, — строго сказал Головатый.

Следующим шел рядовой Мамочкин. Вот о нем Головатый нисколько не будет жалеть, если его забракуют. Мамочкин недавно прибыл в часть, участвовал всего в одном бою, и когда его задело осколком по руке, он растерялся, заплакал и — что было беспримерным в истории дивизиона! — попросил разрешения командира выйти из боя и побежал в медсанбат. Из медсанбата он вернулся в тот же день, но словно бы не в свою часть: на всех лицах было написано отчуждение, никто не спросил о самочувствии, не угостил табачком. Никто даже не полюбопытствовал, почему он так скоро вернулся из медсанбата, хотя рукав его был в непросохшей крови.

Головатый сказал:

— Товарищ Мамочкин, что ж вы не сообщаете врачу, что у вас болит рука?

Побледнев, Мамочкин ответил:

— Никак нет, товарищ старший лейтенант, рука моя в порядке.

— А ну, покажите, — говорит военфельдшер.

Мамочкин задирает рукав, и военфельдшер, едва взглянув на подсохшую корочку пустячной царапины, говорит:

— Ну, это пустяки. Следующий!

Улыбка чуть тронула бледные губы Мамочкина, когда он, поспешно опустив рукав, шагнул в сторону. И Голо-

ватый вдруг соображает: Мамочкин показал врачу левую руку, а ранен он был в правую. Головатый ничего не сказал, только посмотрел на детски худые плечи Мамочкина. «Этого я тебе не забуду, Мамочкин», подумал он.

Осмотр кончился. Кроме Медведского, только один боец получил отставку, остальные оказались здоровыми или сумели хорошо замаскировать свой изъян. Когда Головатый шел к землянке парторга Черкасова, чтобы вместе с ним распределить партийные силы, из-за дерева к нему шагнул Медведский.

— Товарищ старший лейтенант! Если я окажусь на том берегу, вы меня не прогоните?

— Ты что задумал?

— Ей-богу, плохого ничего.

— Там видно будет, — сказал Головатый. Глаза Медведского сверкнули благодарностью. Он козырнул и скрылся за деревьями.

Парторг Черкасов, толстый веселый человек, протянул Головатому листок бумаги.

— Ну, я разметил. Теперь у нас в каждом расчете будет по коммунисту. Распределял не наобум, учитывая их свойства, отношения.

— Сергиенко переведи к Салатаеву, — вспомнил Говатый, — а этих переставь так вот...

Уже вечерело. Просветы между деревьями налились чернотой, и землю прошибло холодной росой, когда Головатый выстроил своих людей перед последней поверкой. Знакомые, красные от загара и ветра лица дружно повернулись вправо, натужив шеи, и так же дружно обратились к Головатому при коротких словах команды: «Напра-во рнясь!» и «Смир-но!» Одежда на всех была хорошо пригнана, сапоги очищены от грязи.

— Товарищи, — сказал Головатый, — мы идем в большой бой. Я думаю, никому из нас не придется вспоминать после боя, что он ел из одного котла или спал под

одной шинелью с трусом... — Чуть помолчал. — Вольно!.. — Гвардейцы не расслабили тел, они всегда держали строй плотным и упругим, но напряженность сбежала с их лиц, и в потеплевших взглядах Головатый прочел, что слова его дошли.

— По машинам! — прокатилось лесом. Головатый взглянул на часы: ровно семь.

— По машинам, — негромко сказал он и первым побежал к серо-зеленому трофейному «Мерседесу».

4

Под Золотоношей немцы пытались остановить корпус. По данным разведки они бросили туда несколько свежих дивизий. Ожидали длительного и ожесточенного боя. Но дело ограничилось одним артиллерийским наступлением. Пехоте и танкам работы не оказалось. Немцы поспешно отступили от Золотоноши, были перехвачены соседней армией, которая и погнала их к Днепру.

Головатого поразило, как слабо действовала немецкая артиллерия. Жиденький ее огонь потонул в нашем огневом шквале. Это было тем более странно, что до сих пор немецкая артиллерия действовала весьма интенсивно, и то, что в решающей схватке на подступах к Днепру немцы не сумели обеспечить свои части артиллерией, казалось просто необъяснимым.

Зато наш огонь, по общему мнению всех артиллеристов, был великолепен. Сигналом к огневому наступлению послужил залп «Катюш». Словно огромная стая железнокрылых птиц метнулась в небо — сорвались снаряды со стальных полозьев. Узкие стрелы огня указали их путь в ночи... Прицелившись глазом к своему участку, словно он брал его на мушку, Головатый крикнул счастливым голосом:

— За Васюту, за Днепр — огонь!

Меньше чем через два часа, — еще не кончилось

артиллерийское наступление, — разведка донесла, что противник отходит по трем дорогам, идущим на запад и на север Артиллеристы Соловьева оседлали дороги, а в Золотоношу устремились автоматчики — подчищать за артиллерией. Огонь по городу прекратился.

Захватив с собой младшего лейтенанта Прутко и сержанта Галанова, Головатый пошел взглянуть на результаты работы своей батареи. От земли сладко и тошно пахло порохом. Им приходилось итти, то и дело переступая через трупы немецких солдат. Какие-то странные звуки, похожие на собачий лай, донеслись из-за разрушенного сарая. Зловеще и странно бились они в тишине, той особой, оглушительной тишине, что наступает после боя. Головатый вздрогнул. Они побежали за сарай. Стоя на коленях и зажав руками голову, немец надрывался в смехе. Он не изменил позы, когда подошли люди; лающий хохот, словно икота, рвался у него из горла.

— Чего это с ним? — спросил испуганно Прутко.

— А с шариков съехал, — спокойно пояснил Галанов.

Рядом с хохочущим немцем в скрюченных позах валялись три трупа, поодаль колесами вверх завалился пулемет.

— Возьмите пулемет, Галанов, — сказал Головатый.

Какие-то тени легли на землю рядом с тенью Головатого и его спутников. Командир дивизиона в сопровождении нескольких офицеров подошел к ним.

— Наблюдаете вещественное доказательство плотности огня? — поморщившись, сказал он. — Дельно, Головатый — И, обернувшись к офицерам, приказал: — Пришлите санитаров.

В Золотоноше их встретили стоны. Среди груды немецких трупов оказались раненые. Немцы побросали их при поспешном отступлении из города.

Город был почти полностью разрушен. Улицы, лишенные четких очертаний, походили на реки при вешнем раз-

ливе. Долго шли они пустынными улицами, мимо завалившихся плетней, сожженных и порушенных домов, пока вдруг из какой-то дыры не вылезла старая женщина. Она молча, с бессмысленным выражением смотрела на шагающих мимо бойцов, на машины, буксующие в дорожной грязи, затем вдруг закусила конец головного платка, шагнула навстречу бойцам:

— Милые... детки мои... — И заплакала.

На городской площади, где высилась каким-то чудом уцелевшая колокольня, черная, с просвечиваемыми луной бойницами на верхушке, собрались уцелевшие жители. В небольшой, редкой толпе стояли молодые ребята в ватниках, перепоясанные ремнями со всевозможным оружием. Это были партизаны. От одного из них Головатый узнал объяснение того, что его так удивило во время боя: почему бездействовала немецкая артиллерия. Партизан рассказал, что на правом берегу, повыше Черкасс, партизанская разведка обнаружила великое скопление всевозможной артиллерии, начиная с «Фердинандов» и кончая огромными мортирами «Шкода». Партизаны взорвали мосты и тем самым воспрепятствовали переправе артиллерии на левый берег. Тогда немцы погнали свою технику вверх по реке, где у них была налажена переправа на понтонных мостах. Они поспели к ней как раз, чтобы увидеть, как взлетела на воздух и эта переправа, подорванная пловучей миной.

Партизан рассказал еще, давясь от смеха, что их отряд, оседлавший подъездные пути к Днепру, дал возможность бежать перехваченному заставой немецкому мотоциклисту. Мотоциклист вез в группировку под Золотоношу сообщение о подходе артиллерии. Он умчался, взметая пыль и не слыша за стрекотом мотора взрывов, уничтоживших немецкие переправы.

В расчете на подход артиллерии немцы и приняли так плачевно закончившийся для них бой.

Партизан был молодой, ровесник Головатому. Рассказывая, он теребил пуговицу на гимнастерке Головатого, и этот жест напомнил тому одного старого друга школьных лет. Головатому очень хотелось поболтать с партизаном, — он вдруг почувствовал к нему удивительную близость, — да не пришлось: был приказ двигаться дальше. Головатый пожал жесткую, твердую руку и поспешил к машинам. Но теплое чувство к этому неизвестному другу, облегчающему им путь к Днепру, долго держалось в сердце, пока не отошло куда-то в дальний уголок его, где и притихло до времени вместе со всем многим теплым и хорошим, что встречалось на дорогах войны.

Когда они выезжали из города, старая колокольня ожила. Тугой звон, мерный, торжественный, покатился над землей. Взгляды людей дружно обратились к вершине колокольни. Крошечная черная фигурка раскачивала колокольный язык и сама казалась продолжением этого языка.

— Хорош звон, — сказал старшина Калмыков. — Хошь не малиновый, а все душу трогает и память будит...

...Отворотив лица от ветра, они глядели на восток, где ширился желтый рассвет. Воздух заметно очищался от тьмы. Вначале пояснели лица товарищей, затем обнаружились разводы засохшей грязи на большаке, кюветы в пожелтевшей траве, а там и даль открылась полями, урочищами, пересеченными стежками тумана. Солнце высунуло горбушку, и лучи легли на землю.

— Верно, скоро будет... — высказал кто-то общую мысль. Люди повернули головы, но впереди не было ничего, кроме петляющего большака, и они снова глядели на восходящее солнце. Головатого слегка укачало, он задремал, а когда, уронив голову в дреме, вдруг очнулся, солнце уже совсем вышло из-за горизонта и

слепяще ударило ему в глаза. Головатый зажмурился и отвернулся. Дорога бежала навстречу машине, а дальше, за дорогой, за желтизной полей, вблизи горизонта, сверкало круглое колено реки. Даже в такой дали чувствовалось, как широка и могуча она, ослепительно белая в утреннем, чистом, только-только растворившем остатки темноты свете.

«Днепр!» мгновенно зашедшимся сердцем понял Головатый. Он подумал, что ребята, сидя спиной к ветру, не знают, что виден Днепр, хотел крикнуть и тут заметил, что все смотрят туда же, куда и он. Как и на похоронах Васюты, Головатый подумал, что молчание было самым красноречивым выражением чувств у этих людей.

А Днепр все ясней разгорался под солнцем, наливался голубизной, и уже стали видны кружащиеся над ним чайки и пенистые гребешки волн...

Головатый вытащил из ящика вощеную бумагу и стал раздавать бойцам. Те принимали и заворачивали в нее партийные документы, удостоверения, карточки и письма близких. Сверточки прятали в нагрудный карман. Старшина Калмыков вынул из кармана вместе с документами небольшую черную трубочку. В таких трубочках бойцы носят домашние адреса, чтобы в случае гибели товарищи знали, куда сообщить. Калмыков повертел трубочку в руках.

— Под Сталинградом выдали, — сказал он. — Какой путь она со мной прошла, господи боже мой!..

А Днепр уже подходил к самым глазам. Уж трогала лица его прохлада, уж виднелись синеватые, в фиолетовых полукружьях зализы песка от прибрежных трав к воде. Справа, на крутом всхолмьи, виднелся город Черкассы. Он был во вспышках, и Днепр у его подножья вспенивался шапками от рвущихся снарядов.

Головатый думал, что здесь, под Черкассами, они

будут форсировать Днепр, но неожиданно пришел приказ двигаться вниз по Днепру до города Канева, лежащего на правом берегу, километрах в пятидесяти от Черкасс. Как выяснилось в дальнейшем, наша разведка донесла, что под Каневом немцы меняли части: отвели на формирование одну танковую часть, но замены ей еще не прислали. Этим и решило воспользоваться наше командование.

Примерно через час машины въехали в лесок, косячком подходивший к Днепру, и стали. И тут, словно по уговору, из всех машин повыскакивали бойцы и бросились к реке. И Головатый выскочил из машины и побежал следом за другими. Он видел, что первым достиг реки пожилой старшина Калмыков. Грузно опустившись на колени у самой воды, Калмыков поклонился ей трижды и перекрестился широким крестом. Несколько старых бойцов последовали его примеру. Молодые же, разбрызгивая воду, вбегали в реку, так что вода заливалась за голенища, пилотками черпали воду и пили ее, студеную и прозрачную, долгими глотками. А один, распластавшись на берегу, припал ртом, шумно схлебывая воду, а когда отрывался, вода текла с его подбородка за пазуху. Он смеялся приговаривая:

— Днипро, ой, Днипро!..

Головатый испил днепровской воды и надел мокрую пилотку на голову. В пропыленных гимнастерках, обнажив выцветшие стриженые головы, по колено в воде стояло войско, прошедшее самый невероятный и многотрудный путь — от Сталинграда до Днепра. «Вот она — история, — думал Головатый. — Вот о чем с замиранием сердца будут читать через сотни лет...»

Вдалеке глухо ухнуло. На середину реки шлепнулся снаряд и разорвался, подняв огромный столб. Немецкие батареи из-под Канева начали свою работу. Тяжело поплескивая в воздухе над головами людей, в даль, на

врага, прошел снаряд: отвечала наша дальнобойная. За-
сучив штаны, с длинными шестами в руках, пошли раз-
ведчики искать броду. Потянули кабель связисты. Пере-
живания кончились — началась работа.

5

Каждый командир батареи был лично ответственен
за переправу своей части и размещение ее на правом
берегу. Поручив лейтенанту Черкасову готовить имуще-
ство к переправе и отрядив шестерых бойцов рубить де-
ревья под плоты на случай, если нехватит перевозочных
средств, Головатый вместе с младшим лейтенантом
Прутко поплыл в крошечном рыбацком челноке на пра-
вый берег выбирать позиции.

Как ни налегал Прутко на весла, Головатому каза-
лось, что они едва двигаются. Обстрел заметно усилил-
ся, снаряды ложились в воду на всем протяжении реки,
насколько хватал глаз, но все же огонь не был столь
плотным, как можно было ожидать: противник или
экономил снаряды, или не располагал достаточной
артиллерией.

— Я предполагал, что переправа будет горячей, —
заметил Прутко.

— Не говори «гоп», — отозвался Головатый.

Они миновали середину реки, и берег стал быстро
приближаться. Уже видны черные дыры гнезд чаек на
песчаном береговом откосе. Чем ближе становился берег,
тем сильнее охватывало Головатого какое-то суеверное
чувство: не доплыть! Опытный артиллерист, он вдруг стал
поеживаться, слыша свист снаряда, хотя привычное
сознание отмечало точно: мимо, мимо... Рука его против
воли хваталась за бортик, когда челнок черпал воду.
Метров за десять до берега Головатый, не в силах доль-
ше сдерживаться, соскочил в воду и зашагал к берегу
по песчаному, разъезжающемуся под ногами дну. Вода

достигала пояса, но теперь-то он знал, что дойдет. И он дошел, ухватился рукой за траву, вскарабкался на берег. Ноги его дрожали, хотелось опуститься на траву, но ему было стыдно, что Прутко заметит его состояние. Но в тот момент, когда он, выпрямившись во весь рост, полной ступней встал на землю на правом берегу Днепра, дрожь исчезла. Всем телом ощутил он какое-то удивительное спокойствие. Достиг... Раз и навсегда! Никакая сила не столкнет его с этой земли!

Прутко вытаскивал челнок на берег. Управившись с ним, он подошел к Головатому и ничего не заметил в спокойных, чуть нахмуренных чертах командира и друга.

Поднявшись наверх, они увидели сильно пересеченную местность. Глубокие овраги с отвесными стенками, изрезанными продольными складками, как в каньонах, простирались во все стороны.

Между оврагами — кустарник, холмики. Ближе к Каневу земля выравнивалась. Вдалеке виднелись деревушки: Селище, Студенец и Бобрицы, занятые немцами. Местность представляла ряд удобств для обороны, а глубокие овраги словно были созданы для того, чтобы вести из них минометный навесный огонь. Но Головатый долго не мог решить, какой из оврагов выбрать. В училище старый майор, преподаватель тактики, не раз говорил, что правильный выбор позиции решает половину дела. Вдвоем с Прутко они облазили с десяток оврагов, и в конце концов мнения их разошлись. Прутко считал, что лучше всего разместить батарею в неглубоком замкнутом овраге. Головатый склонялся в пользу другого — большого и очень глубокого, с крутыми стенками, который одной своей стороной подходил почти к самому Днепру, другой же через узкую горловину соединялся с еще бо́льшим оврагом, который тянулся на запад, в

сторону деревни Бобрицы, к немецким позициям. Это обстоятельство и смущало Прутко.

— Немец может просочиться, — убеждал он.

— Не исключено, — возразил Головатый, — но в наших силах его не пустить. Мы заминируем горловину, натянем проволоку, поставим охранение. Это гарантия. Теперь, представь себе, прорвутся танки. В твоем овражке они нас перебьют, а здесь — смотри... — Головатый отломил ветку куста, пригнулся и нацелил суком в овраг. — Я — танк. Это — пушка. Большего наклона танковая пушка не дает. Так?

— Ну, вот так, — поправил Прутко палку.

— Все равно, снаряд попадет только в стенку оврага, а нам ни черта.

— Точно, — согласился Прутко. — Да вот горловина....

Но Головатый уже не слушал. Убедив самого себя, он не колебался и, вытащив планшет, отметил на карте место расположения батареи.

На левом берегу Головатого, одним из первых побывавшего на правом берегу, встретили завистливые расспросы: ну как, дескать, правый бережок?

— Та же землица, что и здесь. Земля украинская, — смеясь, ответил Головатый.

Имущество уже было подготовлено к переправе, плотовщики закончили свою работу. Но тут лейтенант Черкасов сообщил Головатому приятную весть. У начальника переправы имеется несколько могучих понтонов, предназначенных для танков, а танки капитана Данилова, как он, Черкасов, узнал, будут не раньше, чем через два часа. Можно договориться с начальником переправы, чтобы он уступил на это время понтоны. Начальник был знаком Головатому. Он поспешил к нему и вернулся обратно счастливым обладателем понтона. Понтон состоял из двух больших челнов, соединенных настилом. На нем

свободно умещался миномет со всем расчетом и до тридцати ящиков с минами. Последнее было особенно отрадно: сильнее всего заботило Головатого переправить как можно больше боеприпасов. Тут отличился Галанов. Он достал где-то веревочные обрывки, запетлял ими головки мин и привесил себе на пояс. Его пример подхватили: люди вешали мины не только на пояс, но и на шею, перекидывали через плечо.

Переправившись, наметили ориентиры, сделали пристрелку. Головатый вернулся на левый берег сдать понтон. Здесь царило необычайное оживление. По всей кромке берега шла переправа. Переправлялись, кто на чем горазд, — нетерпение людей было таково, что никто не хотел ждать, пока его снабдят переправочными средствами. Командиры поощряли это: обстрел усилился, и было менее рискованно переправляться поодиночке. На лодчонках, плотах и плотишках, на кругляшах-бревнах и на досках плыли люди по Днепру. Один паром неподалеку от левого берега разлетелся в щепы. На нем переправлялись саперы. Головатый увидел, когда улеглась вода, что люди, подняв над головой автоматы, лопаты, кирки, кто уцепившись за доску, а кто и просто так, плывут не назад, а вперед, к дальнему правому берегу.

Немного погодя ему пришлось быть свидетелем другой сцены. Приземистый боец-патрульный заворачивал худую морду лошаденки, которую хворостиной гнал к воде мужичонка с патлатой бородой.

— Н-зад, давай н-зад! — орал боец, что было сил упираясь руками в покорную лошадиную морду.

— Н-но, Маруська! — надрывался мужичонка, подхлестывая Маруську под худое вздрагивающее брюхо. Маруська перебирала голенастыми ногами и недоуменно вскидывала глаза то на хозяина, то на бойца, выворачи-

вающего ей морду. Странную группу окружили бойцы, подошел и Головатый.

— Ты куда их, Васяха, не пущаешь? — полюбопытствовал кто-то.

— А кто он такой есть,—отозвался Васяха, повернув перекошенное от усилий и гнева лицо. — Прет к Днепру, диверсан какой!

— Кто деверьсан! — тонко закричал мужичонка. — Ах ты, нехристь! Колхозник я с «Красного пахаря». Наш колхоз за Днепром был, и нам туды с Маруськой надобноть!

— Да там немец...

— Был немец, да сплыл немец. Я что ж, слепой — не вижу, наши тама!

— Постой, отец, — вмешался Головатый. — Объясни толком. Тебе чего на том берегу...

— А вот, товарищ начальник, — отходчиво сказал мужичонка. — На правом-то берегу, у колхоза нашего «Красного пахаря», лужки заливные были. Надобноть Маруське травки пощипать, а то, глянь, товарищ начальник, от ей одна шкурка осталась. Мы при немце по лесам укрывались, а там корма худая... Войди в положение...

— Да ведь правый берег еще не наш. Там бои будут.

— Раз наши там — значит наш! — хитро прищурился мужичонка. — Это уж мы знаем...

— Вот что, отец, — сказал Головатый. — Ты покамест еще маленько посиди в лесочке. А мы немца подальше отгоним и тебя с Маруськой первыми на ту сторону доставим. Реэвакуируем.

— Рекуируйте, значит, — сказал мужичонка. — Ну, коли так, ладно. Пошли, Маруська, еще малость потерпим... — Головатый погладил Маруську по морде, и она доверчиво потерлась о его руку.

До наступления вечерних сумерек, несмотря на усилившийся обстрел, Головатый переправил всех людей

и все имущество своей батареи. И когда последний батареец ступил на правый берег, боец Темченко сказал:

— Вот и форсировали Днепр, а, ребята?—Удивление и радость с такой наивностью прозвучали в его голосе, что бойцы засмеялись.

— Ошибаешься, Темченко, еще не форсировали, — очень серьезно сказал Головатый, и эта серьезность тотчас же передалась бойцам. Головатый первым рапортовал о благополучном завершении переправы. У других командиров батарей переправа была еще в самом разгаре. Уже в сумерках отплыл Головатый в последний раз на левый берег, чтобы обеспечить свои тылы по части кухни и боезапаса. Солнце ушло за длинное фиолетовое облако, но небо над облаком полыхало красным, отражаясь в воде. Снаряды, рвавшиеся в воде, поднимали красные столбы, разлетавшиеся словно брызгами крови.

Большой понтон неуклюже проплыл мимо, едва не опрокинув утлый челнок Головатого. На понтоне стоял легкий броневичок, а на башне сидел боец с забинтованной головой. Поверх бинтов у него был нахлобучен танкистский шлем. Лицо бойца с напряженными у широких челюстей мускулами показалось удивительно знакомым Головатому. Красный отблеск пал на лицо бойца, и вдруг Головатого словно толкнуло в сердце. «Васюта!» В следующий миг он понял: «Ну да, Васюта, только Васюта меньшой. Как же он попал сюда? Наверно, бежал из госпиталя...» Понтон и танкист с недвижным, словно вычеканенным на меди лицом проплыли мимо, а за понтоном обнаружился плотик на буксире. На нем, наполовину в воде, сидел боец. Он смеющимися глазами взглянул на Головатого и вдруг поспешно нагнулся, припав лицом чуть не к самой воде. Головатый удивился, но не придал значения странному поступку бойца. А тут неподалеку разорвался снаряд, челнок обдало водой, едва не потопив, и Головатый вовсе позабыл о бойце на плотике.

На берегу Головатый первым делом разыскал Калмыкова. Старшина Калмыков был одним из самых уважаемых Головатым людей в батарее. Пожилой, неразговорчивый, с тяжелым взглядом человек, он был едва ли не лучшим старшиной в целом корпусе. Головатый по опыту знал, что пища — одна из основных предпосылок хорошего душевного самочувствия, а следовательно, и боеспособности бойца. Про Калмыкова рассказывали, что в самые тяжелые дни обороны Сталинграда он ухитрялся доставать бойцам горячую пищу и даже водку. И хотя Головатый совершенно доверял старшине, он счел своим долгом лично убедиться в том, что с пищей все в порядке. Калмыков, сидя на корточках, сапожной иглой зашивал мешок.

— Говорят, скоро хозяйственники прибудут, товарищ старший лейтенант,— встав, сообщил Калмыков.— Тогда за харчишками пойду. А запоздает — тоже не страшно. У меня есть запасец крупки пшенной и сухарей. А главное то, что раздобыл я плоскодоночку; если только прямой не ударит — ни за что не опрокинется. Она у меня в кустах схоронена, так что задержки за мной не будет. — Калмыков помолчал и хитро добавил: — А может, и водочкой раздобудусь...

Покончив все дела, Головатый уже в темноте вернулся на правый берег. Из темноты, словно отделившись от берега, неожиданно возникла перед ним фигура.

— Стой! — сказал он, положив руку на кобур. — Кто такой?

— Это я, Медведский, товарищ старший лейтенант,— услышал Головатый хорошо знакомый голос. — Разрешите остаться, товарищ старший лейтенант. На правом-то бережку...

— Это ты к понтону прицепился? — догадался Головатый.

— Так точно. Чуть не ведро воды сглотал, как вас увидел. Думал, вернете вы меня с полдороги.

— Ну, оставайся, коли так. И чтоб я не передумал — обеспечивай нас боезапасом. Как увидишь, что мины на исходе, забирай трех-четырех ребят — и на тот берег! Договорились?

— Так точно! — счастливо ответил Медведский.

Всю ночь бойцы рыли квадратную неглубокую яму на высотке, вблизи оврага — наблюдательный пункт, откуда Головатому предстояло направлять огонь батареи, рыли траншею от наблюдательного пункта к оврагу, рыли окопы и окопчики для боевых охранений, накатывали блиндажи, чтобы враг не проник в овраг. И всю ночь слышался постук топоров, удары тяжелых комьев, откидываемых на землю, звон заступов о породу...

Еще шла переправа на Днепре, а немцы прекратили огонь. Они тоже готовились. Всю ночь со стороны деревень слышался гул моторов, ржание лошадей; подвозили технику, людей, боеприпасы.

Ночь выжидала. Тяжелый, словно в предгрозье, воздух давил. Вдалеке мигали зарницы.

До рассвета работы были закончены. Выставив боевое охранение, а у горловины — пулеметчика с трофейным немецким пулеметом, взятым под Золотоношей, Головатый приказал остальным людям спать. Он и сам прилег, завернувшись в плащ-палатку, но заснуть не мог. Огромное, усеянное звездами небо расстилалось над ним. Звезды смутно шевелились, и некоторые отрывались и падали, протягивая серебряные нити. Головатый вспомнил, что если загадать какое-нибудь желание, пока падающая звездочка не сгаснет, то оно непременно сбудется. Но желаний было так много, что он не успевал выбрать из них одно, как падающая звезда кончала свой светящийся бег. Мелькнули лица друзей, родных, дом его

детства, смутные очертания каких-то больших и неясных желаний; они кружились, мешались в его мозгу. Наконец он ухватил одно:

— Желаю, чтоб немец в овраг не проник! — произнес он быстро, и звездочка, словно услышав его, кивнула ему на излете пути.

6

Небо незаметно светлело, звезды расплывались в серебристые поля, и вот рассвет проложил у горизонта первую бледно-желтую полоску.

Головатый приказал будить людей, а сам занял место на наблюдательном пункте вместе с наблюдателями и телефонистами. Желтый свет зари разливался по небу, и такая же желтая, как заря, описала дугу над немецким передним краем ракета. Содрогнулся до основания и прозвенел, словно столкнулись огромные стеклянные листы, притихший за ночь простор. Немецкие батареи дали первый залп. Головатый взглянул на часы: секунда в секунду шесть. Словно по его часам, начали немцы контрнаступление Головатый приблизил часы к уху, но не услышал механизма: вся огневая сила немцев вступила в строй.

— НЗО «Буря»...— привычным бесстрастным голосом передал телефонист приказ командира дивизиона.

Сообщая ориентиры и отдавая приказания, Головатый бессознательно фиксировал работу немецкой артиллерии: 81-миллиметровки, «сопливый ганс» — шестиствольный миномет, тяжелые минометы, гаубица, и так же невольно, как профессионал, одобрил: сильный огонь, классная работа... Да, это не было похоже на Золотоношу: огонь был исключительной плотности. Первые немецкие снаряды прошли над ними, затем снаряды стали рваться вокруг наблюдательного пункта. Головатый всем телом чувствовал содрогание земли. Земляные вихри проносились над окопчиком, словно горячими плетьми ожигая лица.

Припав к стереотрубе, Головатый высматривал передний край немцев. Солнце всходило за его спиной, и первые его лучи били в сторону немцев. Перехваченный солнечным лучом, сверкнул осколочек стекла на крыше сарая в Студенцах. Головатый напряг зрение: сверкающий снопик на крыше переместился, пустив из себя короткие ослепительные стрелки. Ясное дело: линза стереотрубы — наблюдательный пункт немцев. Он быстро сообщил данные. Батарея сделала «вилку», как называют у минометчиков фигуру из недолета и перелета, где цель оказывается посредине.

— По наблюдательному пункту заряд третий, бусоль 37,20, прицел 7,62... Батареею две мины беглый огонь!

— Чистая работа! — произнес он через несколько секунд. На месте, где был сарай, валялись обломки; из них высовывались язычки пламени, отчетливо видимые в бинокль. Наблюдательного пункта более не существовало. Через какой-то промежуток времени Головатому показалось, что в симфонии немецкого огня убыли звуки 81-миллиметровой батареи. Он не был в этом вполне убежден, но могло быть, что именно ее наблюдательный пункт они уничтожили.

Теперь, пока немцы не оборудуют новый наблюдательный пункт, эта батарея будет молчать.

Но вот в кругах стереотрубы Головатый увидел, как из деревень выбегают, стремительно нарастая в количестве, серенькие фигурки. Солнце играло на их касках. «Ну, этим я не завидую, — подумал Головатый. — Какой ни дали они огонь на подготовку, мы-то живы».

— Подготовить ПЗО... — передал телефонист.

Минометчики Головатого были великими мастерами подвижного заградительного огня. И, отдавая приказания, Головатый высунулся из окопа, чтобы лучше видеть, что сейчас произойдет.

Он видел, как бежали немецкие автоматчики. Их бег

казался медленным из-за дальности расстояния. Мины пролетели над его головой, и перед немецкими автоматчиками встала сплошная черная стена земли. Стена придвинулась к автоматчикам и скрыла их с глаз. И в этот момент оглушительно провыло, казалось, у самого его лица. Кто-то дернул Головатого и, навалившись на него, прижал к земле. Головатый слышал, как комья земли ударили по телу прикрывшего его человека. Немецкий снаряд разорвался метрах в пяти от окопа. Телефонист поднялся, стряхнул землю и пошел к аппарату.

— Дятел!.. Дятел!.. — стал он вызывать позывной батареи.

— Спасибо тебе, брат, — сказал Головатый.

Он подобрал бинокль, уцелевший при падении, и поглядел туда, где медленно оседала пыль и дым уходил к небу, освобождая вид на поле, усеянное телами немцев. Живые лежали вперемежку с мертвыми. Живые окапывались, мертвые уткнулись носом в землю и уж не заботились ни о чем... И вот замолкли немецкие батареи, остался лишь редкий «тревожащий» огонь — первая немецкая контратака была отбита.

— Закуривай, ребята, — сказал Головатый старую шутку: на передовых курить было воспрещено.

Головатый снял нагретую солнцем каску, утер пот, снова нахлобучил каску и, дождавшись, когда дым совсем рассеялся, оглядел передний край немцев.

Позади деревни находились фруктовые сады. Даже сейчас осенняя оголенность, прикрытая скудной желтизной, не могла лишить их великолепия, которое чувствовалось в мощном, густом сплетении ветвей. И хотя совсем другое привлекло внимание Головатого к садам, он отметил их красоту сердцем. В саду происходило какое-то движение. Приглядевшись, он понял, что немцы по глубокой балке скрыто подгоняют к садам машины с боеприпасами.

«Жалко сады», подумал Головатый, сообщая координаты.

Минный огонь, что называется, «впритирочку» лег на сады, разрывая, губя, сметая и немецкую технику и безвинные деревья.

До начала второй контратаки батарея Головатого уничтожила еще один наблюдательный пункт немцев, расположенный на старой мельнице. Батарейцы работали с исключительной чистотой, и Головатому приятно было сознавать, что он командир этих мастеров огня.

Довольно низко прошла шестерка «Мессершмиттов» и обстреляла наш передний край из пулеметов. Самолеты развернулись и пошли на новый заход. С левого берега ударили наши зенитки; черненькие облачка запятнали небо вокруг машин. «Мессеры» все же провели несколько вспарывающих бороздок вдоль нашей обороны и скрылись за горизонт. И, до того как они исчезли совсем, немцы пошли в контратаку.

Контратаки следовали одна за другой с равными промежутками времени. В третью и четвертую контратаку немцы пускали танки, но каждый раз, не пройдя и полпути, танки поворачивали вспять. После пятой контратаки у Головатого иссякли мины, но до начала следующей Медведский успел переправить много ящиков. И хотя все атаки отбивались, хотя немцы несли тяжелые потери, они в каждую новую атаку бросали всё бо̀льшие силы и огонь их не ослабевал. Их автоматчики достигли крайних оврагов. Другая группа завязала огневой бой с нашими пехотными батальонами. Видимо, немцы располагали очень большими силами и, не торопясь, последовательно вводили их в бой. У Головатого пока что не было потерь в людях, но в соседнюю батарею уже несколько раз пробирались санитары. Через некоторое время Головатый получил дополнитель-

ный сектор обстрела: значит, у соседа были потери и в материальной части.

В середине дня появился старшина Калмыков с двумя ведрами каши и четвертной бутылью в брезентовом чехле за спиной. Головатый оставил на наблюдательном пункте младшего лейтенанта Прутко и сам спустился в овраг. Старшина раскладывал кашу по котелкам. От нее шел приятный дух.

— Как жизнь, друзья? — спросил Головатый.

— Жизнь подходящая, — ответил Галанов, — а сейчас, как водочка приспела, можно сказать, хорошая.

Люди улыбались сдержанно, и Головатому понравилось это настроение людей, чуждое ухарства, но уверенное и сосредоточенное.

А старшина уже достал мензурку и аккуратно, чтобы, упаси боже, не потерять хоть каплю, разливал водку по стаканчикам, которых было всего три.

— Грамм по пятьдесят будет? — поинтересовался Темченко.

— Точно, — ответил Калмыков.

Первую водку получили командиры, но легко хмелеющий Головатый уступил свою порцию Галанову. Тот поглядел вино на свет, поймал солнечный лучик и поиграл им на гранях.

— От всех бед — защитник, — сказал он и опрокинул вино в горло. — Ох, гвардии старшина; родной мой, — сказал он с умилением, — да это ж чистый спирт...

Опрокинув винца, люди уселись на корточки — отдать дань калмыковской каше. Калмыков готовил ее не как-нибудь — с луковичной подливочкой.

— Товарищ старший лейтенант, — сказал Калмыков, — а правду бают, что под Каневом Тараса Шевченки могила?

— Совершенно верно! — вспомнил и Головатый. — На Чернечьей горе, с того берега ее хорошо видно.

— Мировой поэт был, — заметил Темченко.

Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій, —

прочел он. Калмыков тихим голосом докончил:

Шоб лани широкополі
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.

— Це с «Заповіту», — сказал Калмыков.

Головатого удивило, что Калмыков знает Шевченко. Серые, тяжелые глаза Калмыкова посветлели, и во взгляде появилось даже что-то мечтательное.

— А ты, Калмыков, откуда знаешь Шевченко? — удивился Темченко. — Ведь ты, Калмыков, русский?

— Мать у меня украинка, — застенчиво сказал Калмыков. — Она мне все пела, когда я мальком, вроде тебя, был...

Бойцы засмеялись, а маленький, щуплый Темченко покраснел.

— А как мы погоним его, дойдем до той могилы? — спросил Суховатый.

— Ясно, — сказал Калмыков.

И Головатый подумал, раз они так уверенно говорят, то так оно и будет. Не иначе.

7

До ночной темноты с небольшими перерывами продолжалась боевая работа батареи. В четверть десятого, после двухчасового молчания, немцы возобновили атаки с удвоенной яростью. Словно невероятный световой телеграф начал слать в ночи свои точки-тире: пунктиры трассирующих пуль, огненные полосы мин. То и дело взлетали ракеты, озаряя простор мертвенным, бледным

светом. Казалось, что эта пляска огня в ночи возбуждает немцев. Сквозь грохот артиллерии долетал их истошный, нечеловеческий крик, когда они поднимались для нового броска. Потом они изменили тактику и вместо массовых бросков стали просачиваться отдельными отрядами в нашу оборону, окапывались и завязывали огневой бой. И там, у кустарников, близ ручья, у так называемого Кривого лога, их скопилось до батальона. Они возвели оборону, и наши не смогли их оттуда выбросить.

К наблюдательному пункту Головатого подобрались три немца. Не разобрав, Головатый окрикнул их: «Кто идет?» — «Свои», ответили из темноты. Граната пролетела у самой его головы; он едва успел присесть, когда она разорвалась по ту сторону наблюдательного пункта. Немец подскочил к окопу. Быстро поднявшись, Головатый почти в упор разрядил в него парабеллум. Его друг Прутко разделался с двумя остальными.

— Надо свистать наверх людей, — сказал Головатый. — Кажется, здесь будет жарко.

Но до того, как приказ его был выполнен, с тыла к батарее вышли два «Тигра». Земля гудела под их гусеницами. Танки на большой скорости подошли к краю оврага и стали. Стволы орудий опустились доотказа. Залп — земля брызнула из оврага и медленно стала опускаться вниз. Снова полыхнули огнем стволы, брызнула земля, снова и снова...

Волнение, словно судорогой, свело челюсти Головатого, когда он кричал в трубку:

— Черкасов! Черкасов!

— Порядок. — В голосе Черкасова чуть заметная дрожь волнения. Головатый до боли вжимает трубку в ухо.

— Целы и невредимы. Бьет в стенку оврага.

— Пошли людей с гранатами...

«Тигры» продолжали свою мерную и бесцельную стрельбу. Затем Головатый услышал, — то ли на самом деле, то ли показалось,— разрывы гранат. А через несколько минут Черкасов сообщил:

— Вернулись ребята... Тут пушки нужны...

— Ущерба нет? Так пусть стреляют...

— Да нет. Осыпается землица, и только. Жить можно.

— Ну и живите.

Оба шутили, скрывая за шутками злобу на свое бессилие.

«Впрочем, — утешался Головатый, — овражек себя оправдал».

«Тигры» отстрелялись и ушли. Огромные, грузные, они наконец исчезли в ночи, и после этого долго не замолкал угрюмый рокот их моторов.

Из оврага показались обсыпанные землей минометчики и, пригнувшись, побежали к блиндажам.

«Работа только начинается», думал Головатый.

Он услышал, как справа, где-то недалеко от него, зататакал немецкий пулемет. «Неужто это немцы секут моих из пулемета?..» Выстрелы доносились со стороны горловины. «Да это трофей», сообразил Головатый. Разрыв гранаты пресек пулеметную очередь. Затем пулемет снова заработал — и опять разрыв гранаты. Пулемет замолчал, и вслед за тем с хорошо знакомым сухим треском щелкнула мина. Все ясно: немцы пытаются пройти горловину и натолкнулись на мины. Но почему молчит пулемет? Может, пулеметчик убит?

Взяв с собой пятерых бойцов, Головатый пробрался к горловине. Пулеметчик сидел на земле и с помощью зубов накладывал жгут на окровавленную правую руку. Рядом валялся покалеченный пулемет. Несколько немцев пытались проникнуть в наш овраг; он посек их из пулемета. Затем появились еще трое и гранатой вывели из

строя и пулемет и пулеметчика. Один из них сунулся было в горловину, но подорвался на мине, а двое других ушли назад. Обо всем этом рассказал пулеметчик. Он предполагает, что в овраге находится отряд немцев, а те, что приходили, были разведчиками.

Поручив пулеметчика одному из бойцов, Головатый с остальными стал осторожно спускаться в овраг. И по скосам и по дну овраг порос деревьями. Они двинулись от дерева к дереву, но не сделали и сотни шагов, как Головатый, шедший первым, почти натолкнулся на человека, неожиданно появившегося из-за кустов.

— О! — испуганно воскликнул человек.

— Свои, — сказал Головатый и с силой опустил рукоять парабеллума на голову немецкого солдата. Тот как-то странно всхлипнул и опустился на землю.

— Ханс! Ханс! — встревоженно позвали из-за кустов.

Головатый выстрелил по голосу и дал знак своим людям отходить. Он раздвинул кусты и увидел с десяток немцев, идущих гуськом им навстречу. Метнул гранату и отбежал к своим. Они залегли и стали ждать, что будет дальше. Стоны, ругань, отрывистые слова команды... Головатый выглянул и увидел, что немцы оттаскивают раненых, а из глубины оврага к ним спешит на помощь второй отряд. Он выждал, когда они подошли ближе, и подал знак. Полетели гранаты. Немцы ответили тем же. Немецкие гранаты с длинными ручками, они взрываются через пять-шесть секунд после падения. Одна из таких гранат упала у самых ног Головатого. Он быстро нагнулся, ухватил ее и швырнул обратно к немцам. «Если бы наша лимонка, — успел подумать он, — конец...» Он крикнул:

— Отшвыривайте! — и не договорил. Пролетавшая мимо граната сильно ударила его ручкой по лицу. Он почувствовал солоноватый вкус крови во рту, припал к земле, вжался в нее что было силы. Граната разорвалась

в нескольких шагах от него, осколок шваркнул по каске.

— Вы ранены? — подбежал к нему Темченко.

— Ничего... — Головатый сорвал кольцо и швырнул гранату.

Он пожалел, что не видит, как она сработала там, у немцев. Он заметил, что бойцы следуют его примеру: подхватывают немецкие гранаты и швыряют их обратно. Но скоро гранаты кончились и у нас и у немцев. Головатый приказал бойцам рассредоточиться. Они разбежались по кустам. И тут Головатый увидел, что какой-то боец карабкается по скосу оврага наверх. Он узнал сутулую спину и острые плечи Мамочкина.

— Назад, Мамочкин! — закричал Головатый, но тот или не слышал, или не хотел слышать.

Что он? Струсил, бежит из боя? Рука Головатого потянулась к парабеллуму. И тут в памяти мелькнуло бледное и как-то по-хорошему грустное лицо Мамочкина, когда он во время медосмотра отвечал на саркастическую реплику Головатого. И Головатый вдруг сердцем понял, что это не трусость.

Через несколько минут послышался взрыв гранаты там, где были немцы, и тотчас стрельба и крики. Головатый разом догадался, в чем дело; он поднялся и крикнул:

— За мной! — и бросился туда, где метались немцы, решившие, что им в тыл зашли наши.

Немцы карабкались наверх, наши стреляли им в спину, и немцы падали на дно оврага. А один немец, ошалевший от злобы и страха, сам спрыгнул вниз и с голыми руками бросился на Головатого Перед Головатым мелькнуло совсем молодое горбоносое лицо, поразившее его судорожным выражением злобы. Пальцы немца вцепились ему в горло. От толчка Головатый упал на спину. Немец был такого же сложения, как и он, и

едва ли сильнее, но исступленная злоба удваивала его силы. У Головатого сперло дыхание, он напряг шейные мышцы, освободил правую руку, которую при падении придавил собственным телом, и, упершись в лоб немцу, попытался его оттолкнуть. Немец не давался; он противно, в упор сопел, и пальцы его все теснее смыкались на горле Головатого... Головатый что-то закричал, коленом ударил немца под низ живота и, когда тот на мгновение ослабил хватку, выдернул шею из его пальцев. Следующим усилием он стряхнул с себя немца, пытавшегося укусить его за руку. Случайно попал ему под руку револьвер, оброненный при падении. Изо всей силы ударил он немца в висок и почувствовал, как хрустнула височная кость. Головатый поднялся, покрутил головой и взглянул на мертвого врага. Мышцы лица распустились, из полуоткрытого рта немца стекала красная пена.

— Здорово вы его ухайдачили, товарищ старший лейтенант! — Суховатов стоял рядом и глядел на мертвого немца.

— Вы что ж не пришли на помощь своему командиру? — строго сказал Головатый.

— Да что вы, товарищ старший лейтенант? — У Суховатого даже глаза округлились от удивления. — Вы сами мне крикнули: «Не лезь, мой немец!» Я и стал, как пень. Думаю: если он начнет верх брать, нарушу приказ...

Головатый захохотал.

— Неужто я так крикнул? Вот увлекся! — И, подмигнув Суховатому, чтобы скрыть смущение, сказал: — С душой воюем.

Бойцы собирали брошенное немцами имущество: автоматы, пулеметы, рацию...

Головатый заметил Мамочкина.

— Товарищ Мамочкин! — Тот подошел. — Товарищ Мамочкин, вы нарушили дисциплину. Вы что — первый

день на фронте? Не знаете, что должны были взять у меня разрешение?

— Виноват, товарищ старший лейтенант, — сказал Мамочкин. В его голосе звучали необычные металлические нотки. — Я это сознаю, но я не мог поступить иначе.

— Почему?

— Вы не доверили бы мне это сделать, товарищ старший лейтенант. А я... я должен был это сделать, иначе я не мог...

Головатый поглядел на худое, вспотевшее лицо Мамочкина, на его непрочную юношескую фигуру, и ему показалось, что Мамочкин словно стал выше ростом. Ему уже не в первый раз приходилось видеть, как человек «открывал» себя, находил лучшее в своем сердце, и всегда это было радостно видеть. В такие моменты испытываешь большую веру в человека, убеждаешься, как безгранично велики его возможности.

— На этот раз я не накладываю на вас взыскания, — строго и сухо сказал Головатый. — А за смелость... — И тут его юношеское сердце опередило расчет командирской воли: он шагнул к Мамочкину, притянул его за шею и поцеловал.

8

Немцы, прорвавшиеся в расположение наших частей, не давали покоя батарее Головатого. Он оставил у минометов только первые номера, остальные заняли оборону наверху и вели бои с беспрерывно атакующими немецкими отрядами. И каждую новую атаку немцы начинали всё с большим ожесточением. Никогда до сих пор Головатый не видел, чтобы немцы проявляли такое упорство. Галанов, которому он это сказал, заметил, что под Сталинградом немец, пожалуй, был еще злее и упорнее, но, кроме Сталинграда, он также не видел подобного ожесточения. Видно, в головы немецких солдат накреп-

ко втемяшили мысль, что на Днепре решается их судьба. До того Головатый считал, что немцы сильны лишь в массе или под прочной защитой техники. Лишенные техники, они быстро слабели; будучи разобщены, не оказывали значительного сопротивления. Но здесь каждый немецкий солдат был яростен до предела. Раненные, истекающие кровью, они все еще тянулись ослабевшей рукой к гранате или кинжалу...

Наблюдательный пункт Головатого трижды подвергался нападению. Он сам уложил четверых гранатой, одного застрелил, а одного, прыгнувшего в траншею, заколол.

В этих схватках отличились многие люди. Старшина Калмыков доказал, что он не только хороший кашевар и рачительный хозяин батарейного имущества, но и злой русский солдат. Разведчики донесли, что внизу по кромке берега пробирается группа из пятнадцати немцев. Головатый хотел послать отделение разведчиков под командой младшего лейтенанта Прутко, но старшина Калмыков упросил доверить это дело ему, дав в помощь одного Салатаева. Головатый верил в немолодого, мрачноватого и совестливого своего старшину и не усомнился в его словах. Он дал разрешение.

Калмыков и Салатаев быстро добежали до берегового отвеса и действительно увидели немецкий отряд, идущий гуськом вдоль воды. Калмыков отошел в сторону, к большим камням, лежащим на краю обрыва, и, не говоря ни слова, стал раскачивать один из них. Поняв, в чем дело, Салатаев последовал его примеру. Старые камни срослись с землей; оба бойца в кровь ободрали пальцы, пока вывернули их из земли. То же самое проделали они еще с двумя камнями. Внизу плескался Днепр; кромка волн, набегающих на прибрежный песок, светилась под луной. Камни повисли над кручей. Когда немецкий отряд поравнялся с ними, Калмыков толкнул камень,

другой, третий... Последний спихнул Салатаев. Огромные камни покатились вниз, увлекая за собой землю, вырвали березку, навесно растущую на скате, и обрушились на немцев, не успевших ни понять, в чем дело, ни бежать. Крики, всплеск воды, стоны... Дав несколько длинных очередей, Калмыков и Салатаев кубарем скатились вниз и бросились на уцелевших врагов. Как ни были немцы ошарашены случившимся, они пытались оказать сопротивление. Пуля ожгла Калмыкова подмышкой. Он бросился вперед, рукой отвел направленный на него ствол автомата, подмял немца под себя и задушил. Салатаев, получив удар прикладом в лоб, взревел от боли, нагнулся, ухватил тщедушного немца за ноги и раздробил ему голову о камни. И вдруг он заметил, что раненый немец, поднявшись на колено, целит в Калмыкова, дерущегося врукопашную с последним из уцелевших солдат. Салатаев прыгнул на немца, прижал его к земле и ударил в горло ножом. А тут и Калмыков покончил со своим...

Разведчики принесли раненого бойца. Он был весь черный от грязи и пота, и кровь на гимнастерке спеклась в черную корку. Ему влили спирт в рот, он пришел в себя. Коснеющим языком он рассказал, что послан командиром третьего батальона к комбригу. Третий батальон отрезан, связь порвана, рация разбита. Батальон ведет страшный бой. Раненый хотел что-то сказать, но слышалось только бессвязное бормотание, затем и оно стихло. Боец третьего батальона был мертв...

Головатый приказал Черкасову связаться по телефону с бригадой. Надо послать бойца восстановить линию. Он не долго подумал и вызвал сержанта Галанова. Выслушав приказание, Галанов радостно вспыхнул: он считал, что отстал в этом бою и от Калмыкова и от Мамочкина, свершивших примечательные дела. Головатый крепко пожал руку сержанту.

Галанов уже исчез в темноте, когда Головатого вызвали к телефону. Он узнал спокойный голос комбрига.

— Свяжитесь с Соколом. (Сокол — третий батальон.)

Головатый ответил:

— Весточка послана. Ждем ответа.

В голосе комбрига чуть заметная нотка удивления:

— Ну и отлично! Добивайтесь.

Третий батальон находился в двух с половиной километрах от батареи в сторону Студенца. Но путь определялся не расстоянием, а теми препятствиями, которые встретятся на пути Галанова. Предусмотреть тут ничего нельзя, тем более, что сведения разведки устаревали до того, как их приносили: противник постоянно находился в движении на этом участке. Минут через сорок Головатый почувствовал беспокойство.

— Сокол!.. Сокол!.. — стал он звать в трубку, но в ответ — молчание.

«Неужели Галанов не дошел?»

— Сокол!.. Сокол!..

Галанов не из тех, что может отступить. Галанова не остановишь раной. Но, может быть, смерть?.. В какой-то момент Головатый услышал свои позывные и радостно вздрогнул, но радость сменилась смущением. Попрежнему спокойный голос комбрига спросил:

— Ну, что Сокол?

— Будет... — сказал Головатый.

— Хорошо, — сказал голос, и спокойное его доверие сильнее подействовало на Головатого, чем если бы комбриг выругался, закричал, пригрозил.

— Давай сюда Прутко! — крикнул он бойцу.

Через минуту Прутко стоял перед ним. Глаза его блестели, как и всегда, когда он чувствовал возможность «оторваться».

— Галанов не дошел... Ты установишь связь...

— Наконец-то ты вспомнил про меня! Я уж думал: ты меня в покойники записал.

— Как видишь, нет. И не смей записываться, пока не установишь связь. Я пойду с тобой до заставы у Кривой балки.

— Ты думаешь, мне нужна нянька, Юрий?

— Я должен быть уверен, что ты дойдешь. Если...— Он запнулся и договорил твердо: — Если тебя убьют, я поведу ее сам.

— Не надейся на это, Юрий! — засмеялся Прутко.

Они двинулись гуськом: впереди Прутко, на ходу разматывающий катушку с проводом, за ним Головатый, последним Темченко.

Ракеты то и дело распахивали темноту, и тогда с удивительной четкостью вырисовывались все предметы, наполнявшие простор. И Головатый увидел в один из таких моментов, что двое немцев спускают что-то на веревках в овраг, в котором Прутко предлагал расположить батарею. Наверное, это были ящики с минами, и овраг был занят немцами. Затем они обошли несколько свежеотрытых окопов, откуда доносилась немецкая речь; едва не натолкнулись на танк, около которого возился немец в берете. У оврага им пришлось залечь и продолжать путь ползком, — весь овраг кишел немцами. И Головатый подумал: «Ведь неподалеку первый батальон. Почему он не пытается вышибить немцев?»

Неожиданно Прутко отпрянул, наскочив на труп немецкого солдата. Метров через двадцать снова труп немца. Чуть подальше еще один... Вдруг Головатый почувствовал, что рука его скользит по чему-то мокрому и более теплому, чем роса. Он посмотрел на руку: она была измазана в чем-то черном. Он знал, что ночью красное выглядит черным: его рука была испачкана

свежей кровью. Он пополз несколько правей Прутко и, увидев впереди себя тело человека, сразу решил, что это Галанов. Теперь он понял, что означали трупы немецких солдат. Галанов лежал на животе. Он был весь залит кровью. Катушка с проводом лежала под ним. Когда они перевернули Галанова на спину, оказалось, что и катушка вся смочена кровью.

«Достоин!» вспомнил Головатый свой разговор с Галановым накануне переправы. Ему показалось, что Галанов шевельнулся. Он приложил ухо к его груди и услышал слабый перестук сердца. Они оставили Темченко с раненым и двинулись дальше. Отовсюду доносилась стрельба, и невозможно было отличить работу наших пулеметов от вражеских. Немцы были повсюду; повсюду забили они свои клинья. Едва ли сознают они сами, насколько въелись в нашу оборону...

Пересекли широкое каменистое ложе ручейка, посредине которого бежала несоразмерно тоненькая струйка воды. Справа тянулся кустарник, где еще днем прорвавшиеся немцы создали оборону. Было два пути: один мимо этого кустарника, мимо немецких застав — более короткий и более опасный; другой по ручью — вдвое длиннее и менее опасный. Разворачивая за собой провод, Прутко пополз по первому пути, а Головатый остался. Если Прутко благополучно достигнет цели, он вернется к батарее; если же Прутко убьют, он сам потянет новый конец провода вторым, менее опасным и более длинным путем.

Если бы курсанту Головатому сказали, что он, Головатый, офицер, будет ждать гибели друга, чтобы завершить его дело менее опасным для себя образом, он бы счел себя глубоко оскорбленным. Но в том и была разница между курсантом Головатым, представлявшим себе войну, как сплошной подвиг, и офицером Головатым, знающим жестокие и твердые законы войны, знающим,

что не всегда большее мужество — предпочесть смерть жизни.

И Головатый, положив ладонь на шнур, стал ждать. Шнур прыгал на ладони, терся о кожу. Это значило, что Прутко жив. Затем шнур перестал двигаться. Головатый подождал несколько секунд, отполз в сторону, прикрепил конец шнура от другого мотка и вынул нож, чтобы отсечь прутковский шнур, по которому немцы, если они действительно убили Прутко, могли обнаружить линию. Но резать не стал, потому что не хотел так просто поверить в гибель друга. Прошло еще сколько-то бесконечно долгих мгновений, и шевельнувшийся на ладони шнур снова подал ему сигнал от друга, продолжавшего жить и тянуть линию. Шнур чуть заметно подрагивал: Прутко был далеко, и его сигналы ослабевали в пути. «Золотое правило механики», вспомнил почему-то Головатый. Он подождал еще немного и пополз назад. Затем поднялся и пошел в сторону от прежнего пути. Он хотел заглянуть в расположение первого батальона. Как всегда в ночи, неожиданно возникли фигуры людей. Головатый отпрянул в сторону, затаился. Послышалось крепкое русское ругательство и то же ругательство в украинской вариации. Головатый выступил вперед, и люди шарахнулись в сторону.. Но увидев, что человек один, они крикнули в три-четыре голоса:

— Кто идет?

Испуганное движение людей не понравилось Головатому. Огонь, плясавший в ночи, бросал на них прерывистые блики, и Головатый видел испачканные, подранные гимнастерки и словно бы обуглившиеся лица. Не отвечая на вопрос, он повелительно сказал:

— Какой части?

— Первый батальон, — после короткого замешательства, в течение которого люди пытались рассмотреть его, ответил надтреснутый голос.

— Рота, взвод?

— Весь первый батальон тута, — ответил тот же голос, и Головатому почудилось в его тоне что-то вроде горечи или насмешки.

— Где ваш командир?

— Нету комбата, — отвечал тихо другой голос: — убит наш командир.

— Где ваши офицеры? — закричал Головатый, которому казалось, что над ним издеваются.

— Нету офицеров, товарищ командир, — ответил мягкий немолодой голос. От кучки людей отделился человек. Он вытягивал шею, силясь разглядеть, с кем имеет дело. Головатый увидел сморщенное лицо и обвислые большие усы.

— Нету офицеров, — повторил он. — Комбат еще допрежь того был ранен, в тыл отправили. Остальные перебиты.

— Бойцы махровые! — всердцах сказал Головатый.— Дали себя немцу побить!..

— Нет, товарищ командир. Не дали мы себя побить. Их там, может, вдвое против нашего полегло. Страшный был бой, товарищ командир.

— Страшный, — повторил Головатый. — То-то я вижу — вам страшно. Почему не присоединились ко второму батальону?

— Так от второго батальона, может, меньше нашего осталось...

— А где он?

— На позициях.

Головатый только раскрыл рот, чтобы ответить, как из темноты вышли новые кучки людей.

Головатый выхватил парабеллум. — Я старший лейтенант Головатый — ваш командир. Мы соединимся со

вторым батальоном. — Он перевел дух, отыскал глазами старого бойца. — Как пройти ко второму батальону?

— Кругом надоть, — ответил старый боец. — Потому, если напрямки через овражек, там немцы. Мы как шли, они нас обстреляли.

— Сколько там немцев?

— До роты будет.

— Этим путем мы и пойдем, — сказал Головатый. Да, теперь он избрал более опасный путь. Так нужно: самый верный способ вернуть людям мужество — дать понюхать вражеской крови.

Головатый сказал бойцам задачу и коротко бросил:

— Вперед!

Он побежал впереди и даже не оглянулся, следуют ли за ним люди, потому что был в этом уверен. После короткого и злого боя он прорвался со своими людьми через немецкие позиции. И бойцы, которых он привел во второй батальон, были совсем не теми, каких он встретил в ночи.

Весь в черном поту, пропахший порохом и кровью, командир второго батальона обнял и губами, солеными от пота, поцеловал Головатого.

— Теперь мы выдержим! — сказал он.

...Ночь, казалось, не будет иметь конца. Это была самая длинная ночь в жизни Головатого. Особенно длинными были промежутки между схватками, эти нестойкие моменты тишины. Прибыл с левого берега Медведский и привез мины. Это был его десятый за ночь рейс. Головатый проверил боезапас: его хватило бы еще на такой бой. «Молодец Медведский! Вообще, все молодцы. Но только и молодцы выдыхаются... Сколько было? Двенадцать — двенадцать контратак за одни сутки, не считая десятка мелких схваток! И что-то не нравится мне эта тихость в людях. Никто не задевает друг друга, не обмениваются шутками, даже ругани не

слышно... Выдохлись? Нет. Но устали. Вот Темченко, — поговорю с ним...»

— Ну как, Темченко, пожалуй, одной ногой мы уже на правом берегу?

Темченко повернул осунувшееся лицо, бледная усмешка тронула его губы, но он ничего не сказал.

Рядом с ним Калмыков, старый, хороший, мрачноватый Калмыков, он всегда был своего рода барометром чувств батарейцев.

— Тринадцатая будет, Калмыков, чортова дюжи́на...

— А нехай чортова дюжина, товарищ старший лейтенант, — проворчал Калмыков и, не принимая шутки, серьезно ответил: — Сдюжили дюжину, бог даст сдюжим и чортову дюжину.

По тону Калмыкова Головатому показалось, что он понял настроение людей. Они не выдохлись, но они ждали. Напряженно ждали того же, чего ждал и он, — контратаки.

...Тринадцатая атака немцев началась без четверти пять. Били немецкие минометы из оврага, где предлагал Прутко расположить наши батареи, били немецкие пушки из-под Кривого Ручья, били пулеметы с трех сторон. Огонь велся на близком расстоянии, и шум был такой, что челюсть отвисала сама, барабанные перепонки, казалось, не выдержат многократно увеличившегося давления воздуха. И, как в предыдущие двенадцать контратак, пошли немецкие автоматчики, — только теперь они шли с близких рубежей и с трех сторон в обхват. И уже никого не осталось у минометов, все наши были наверху с автоматами в руках. Немцы шли вперед, простреливая каждый клочок воздуха, падая и подымаясь и снова падая: живой на мертвого, и мертвый на живого; и снова подымаясь, шли они, неотвратимые, как смерть. Наши едва успевали перезаряжать диски. Головатый вдруг с удивительной ясностью понял, что немцы находятся на пределе

возможностей. Они сейчас — словно доотказа натянутая тетива; еще какие-то миги противодействия — и тетива лопнет, она не может не лопнуть. Он чувствовал это физически и думал: чувствуют ли то же самое и другие? Несколько раз казалось: вот-вот лопнет. Но нет, тетива звенела, напрягалась туже и держалась. И он подумал о другом: на войне действует неумолимый закон чисел. Гвардейцев было не более пятидесяти; по крайней мере, вдвое превосходили их численностью немцы. И количество их не уменьшалось, живые заступали место мертвых. Целый час опровергали гвардейцы закон чисел; они не хотели признавать его и тогда, когда уже не с трех сторон, а кругом были немцы и круг смыкался. И они не признали бы его до самой смерти, до смерти последнего из них, если б так было суждено им в этом бою. Но случилось то, чего никто из них не понял в первый момент. Огневой круг распался и стал таять с необыкновенной быстротой. Говоря попросту—немцы побежали. Отбив атаки немцев, двигавшихся от Студенца, третий батальон соединился с остатками первого и второго батальонов и вместе с ними ударил в тыл атакующему противнику.

Неожиданность придала их удару сокрушительную силу. Немцы никак не ждали его, считая, что два наших батальона уничтожены, а третий связан боем и отрезан от бригады...

С пороховым дымом и клубами земляного праха рассеялась и ночь. Рассвет обнажил землю, изрытую, закиданную трупами и мертвым железом разбитого оружия.

Головатого запросили от командира дивизиона о наличном боезапасе. Он ответил.

— Отлично, — сказали ему.

Головатый вызвал Медведского и объявил ему благодарность

— Служу Советскому Союзу, — хрипло сказал Медведский.

Он качнулся, глаза его закрылись и открылись, и он удивленно заморгал. Головатый и сам едва держался на ногах от усталости, но он имел приказ держать людей в боевой готовности. Он верил, что сейчас они получат передышку.

И еще не успело сердце свыкнуться с тишиной, не остыл пот на лицах людей, не успел еще проясниться горизонт, как, свистя, взвилась в воздух и описала полукруг над нашим передним краем зеленая ракета. Головатый взглянул на часы и обрадовался их точному ходу. Секунда в секунду шесть, словно по его часам началась атака. Но уж он не слышал их хода: словно заново родившись, пошла в наступление вся огневая сила нашей артиллерии. Столбы земли встали над деревьями, черные, бурые и почти красные...

И тут из крайних траншей показался шлем первого пехотинца. Человек вылез, покачнулся, будто на ветру, и, согнувшись, как под тяжкой, но посильной ношей, побежал в сторону этих столбов. И, нагоняя, обходя его, пошла в атаку наша пехота.

Видя упрямые, издали кажущиеся приземистыми фигуры пехотинцев, Головатый вспомнил свой разговор с Темченко и сказал, словно тот мог услышать его:

— Вот теперь мы форсировали Днепр, Темченко!

А Темченко в этот момент не мог вспомнить их разговора, он слишком был занят своим делом: подающий как раз вручал ему мину. Темченко ловко подхватил ее, быстро опустил в ствол миномета. Короткий всхлип — и вот его мина вслед за другими пошла на врага незримым воздушным путем...

Когда Президиум Верховного Совета издал указ о присвоении звания Героя Советского Союза воинам, особо отличившимся при форсировании Днепра, в списках оказалось и имя двадцатидвухлетнего офицера Юрия Головатого.

★

К ЧИТАТЕЛЯМ

Просим дать отзыв о содержании книги и ее оформлении. В отзыве укажите свой адрес, профессию и возраст.

Библиотечных работников издательство просит организовать сбор читательских отзывов на эту книгу.

Весь материал направляйте по адресу: Москва, Новая площадь, д. 6/8, изд-во «Молодая гвардия».

Редактор *Б. Евгеньев*

Подписано к печати 19/IX 1944 г.
Л83028. 2 печ л. 3 уч.-изд. л.
59 000 зн. в печ. л. Тир. 30 000.
Заказ 1070. Цена 1 руб. 50 коп.

Ф-ка юн. книги изд-ва ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия». Москва,
ул. Фридриха Энгельса, 46.

Цена 1 руб. 50 коп.